

261285

0-38 N2
261285 70

ОГНИ
КУЗБАССА
КЕМЕРОВО • 1970



Год издания 22-й

1970

**ОГНИ
КУЗБАССА**

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ,
ОРГАН
КЕМЕРОВСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

Редактор В. М. Мазаев

*Редакционная
коллегия:*

*А. Ф. Абрамович,
Е. С. Буравлев,
А. Н. Волошин,
Г. А. Емельянов,
Н. Н. Зеленин
В. В. Махалов
О. П. Павловский
(отв. секретарь)*

*Адрес редакции: Кемерово,
Советский проспект, 94.*

Рукописи объемом до одного печатного
листа не возвращаются.

Бедущий редактор Т. Махалова
Художественный редактор О. Красова
Технический редактор Г. Адова
Корректор В. Кулакова

Сдано в набор 6.IV.1970 г. Подписано
в печати 2.IX.1970 г. Формат 70×90¹/₁₆.
Бумага типографская № 1. Усл. п. л. 5,27.
Уч.-изд. л. 7,85. Тираж 5000. ОП00655.

Цена 30 коп. Заказ № 3518.

Кемеровское книжное издательство.
Кемерово, 99, Ноградская, 5.

Полиграфическое объединение «Томь».
Кемерово, ул. Ноградская, 5.

ОГНИ КУЗБАССА

№ 2

РУБРИКИ

- 2—16 Дневники. Воспоминания.
17—53 Проза и стихи.
54—57 Проблема?... Да, проблема!
58—62 Время—Человек—время.
63—67 Прошел... увидел... рассказал.
68—69 Читателю — на книжную полку.
70—72 Веселая минутка.



389150

Художник В. ВОЛЬФ.

СОДЕРЖАНИЕ

- 2—16 А. ДЬЯКОНОВА. Память о прошлом.
17—19 ИГОРЬ КИСЕЛЕВ. «Я твердо уверовал в это...». Моцарт. «От стихов, от бессонниц, от улиц...». «Я, пожалуй...». «Есть женщины, похожие на пламя...». Стихи.
20—30 ГАРИЙ НЕМЧЕНКО. Шеф. («Из цикла «Рассказы на шпионскую тему»).
- 31—34 ВЛАДИМИР ВЛАСОВ. Юп. Рассказ.
34 СЕРГЕЙ ДОНБАЙ. Натюрморт. «Дверь открой посредине России...». Стихи.
35—36 ГЕОРГИЙ КОРОБЕЙНИКОВ. Данила. Рассказ.
37 НИКОЛАЙ КОЛМОГОРОВ. «Подорожник, подорожник...». «Смещение тайги...». «Были звезды...». Стихи.
38 АЛЕКСАНДРА КЛИМОВА. Ты говоришь... Этюд.
39—53 ПЕТР ВОРОШИЛОВ. «Герцог» подает в отставку. Рассказ.
54—57 В. ГРИГОРЬЕВА. Литература в школе — дело серьезное.
58—62 В. ДРОЗДОВ. Г. А. Мачтет в сибирской ссылке.
63—65 С. ТОРВОКОВ. Шор-кижи.
66—67 Д. ХАТУНЦЕВ. Восхождение на Белый Салан.
68—69 А. СЕМИКОВ. «Житье-бытье».
70—71 ВИТАЛИЙ КУРКОВ. Вот так номер!
72 МАТВЕЙ СИРОТКИН. Афанасий Иванович. Загадка века.

А. Дьяконова

261285

ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ

Среди Хакасских степей, среди улусов и курганов стоят русские деревни, стоят давно, не одно столетие. В таких деревнях еще до сих пор сохранились многие русские старые обычаи, а в то время, с которого начинается мой рассказ, — в двадцатые годы нашего столетия, — эти обычаи были правилом их жизни.

Деревня Муравьевка начиналась на самом высоком берегу реки Июс, несущей свои быстрые воды средь зарослей тальника, черемухи и боярышника. Единственная искривленная муравьевская улица, пересекаемая многими переулками, удаляясь от берега, выходила прямо в степь, в ее широкое раздолье... Деревня по тем временам была не бедной. Ее серые деревянные дома, хотя и ставлены давно умершими предками, были крепки, под тесовыми крышами. Небольшие, с маленькими оконцами, они были очень похожи друг на друга — внутри разделены на две избы, соединенные сенями, или имели смежные избу и горницу, почти всегда закрытую двухстворчатыми дверьми.

Были и более бедные избы — четырехстенные, покрытые плоской или двухскатной крышей из дерна, но их было немного. Стояли они у реки, где начиналась деревня.

Дворы, в большинстве своем, были огорожены плотным деревянным забором из плах. Во дворах стояли амбары,

погребушки, навесы, курятники, хлевы для свиней, а на задах, где-нибудь в стороне, банька по-черному. Дальше шли огороды, телятники, гумно. Во многих дворах, отдаленных от реки, были вырыты колодцы с журавлями, вода в них шла только на поливку огородов, потому что была невкусной.

Для хозяйственных нужд брали воду из реки, выбирая место почище, или из родника, который бил со дна реки под крутым берегом и был огорожен деревянным срубчиком.

В самом центре деревни, на чуть заметном возвышении была довольно большая, зеленая летом, площадь. На одном углу ее стоял дом священника с маленьким палисадником перед окнами, в нем росло несколько кустов смородины, но больше высокой жгучей крапивы.

На противоположном углу живописно приютился старинный крепкий домик, в одной его половине помещалась школа, в другой жила учительница Мария Вячеславовна.

Площадь сливалась с равниной, уходящей в сторону горы Чуч, по дороге к которой находилось печальное деревенское кладбище.

Через дорогу от площади, немного подалее от нее, стоял большой деревянный дом с крашеными белыми наличниками, а перед ним в палисаднике росла стройная ветвистая верба.

В этом доме жила наша семья. В обед

Все собирались в просторной кухне, за длинным столом. Сидя на пристенных крашеных лавках, ели щи со ржаным хлебом, а потом рассыпчатую гречневую кашу с густым холодным молоком. В простенке между окон сидел глава семьи — деревенский фельдшер Сергей Константинович Родин. В голубых глазах его солнечным светом сверкают желтые лучики, полные губы прикрыты небольшими рыжеватыми усами. Лицо и чуть сутуловатая фигура обличают в нем человека добродушного, с мягким, но энергичным характером.

Рядом с ним его братья: Дмитрий — псаломщик приходской церкви, Михаил, с увлечением занимающийся сельским хозяйством, и белокурый подросток Юрий.

По другую сторону Сергея Константиновича сижу я, совсем еще маленькая, лет четырех. Рядом со мной мой младший брат Костя. На другом конце стола — хакас Николай, помогавший нам в хозяйстве. На высоком гнущем стульчике сидит второй мой маленький брат Коля, около него моя мать Елизавета Петровна. Ее красивое, с тонкими чертами лицо не лишено еще прежнего девического оживления, когда она была так весела и смешлива. Черные пышные волосы вьющимися прядками выбиваются из-под повязанного вокруг головы платка.

Работник Николай, выйдя из-за стола, долго крестится на иконы в переднем углу, садится поодаль на лавку, скрестив вытянутые ноги в унтах из конской кожи, подвязанных ремешками, и, вынув класет из ватных штанов, высекает искру из кремня, зажигает трут и закуривает свою неизменную трубку.

Зимний день быстро клонится к вечеру, окна дома закрываются ставнями. В кухне на столе горит керосиновая лампа, на полу кучей лежат тонкие длинные талиновые прутья, а около них, поджав под себя ноги, мои дядюшки Михаил и Юрий плетут корзины.

Я с любопытством смотрю, как быстро плетется продолговатая или круглая корзина, приятно пахнущая талым весенним запахом... Отец и дядюшка Дмитрий, постукивая молотками, шьют какую-то обувь. Работают они с большим энтузиазмом, увлеченно и оживленно беседуют меж собой. Открытое живое лицо дяди Миши дышит какой-то искрящейся энергией, и в его кариых глазах светится такое веселое раздолье, что смотреть в них и остывать равнодуши-

ем совершенно невозможно. Все братья увлекались рыбной ловлей, а Дмитрий, кроме того, любил охотиться на дичь и умел хорошо вышивать.

Зима только еще началась, и мне очень хочется походить по невероятно белому сверкающему в лучах солнца снегу и послушать, как он скрипит.

Я выхожу во двор. За изгородью, рядом с огородом, совсем под открытым небом, стоят лошади — светло-желтая кобылица Халимка и мерин Бурка. Подойдя к изгороди и заглянув в пространство между перекладинами, я застыла удивленная: маленький жеребенок! Но когда же он родился? Почему я о нем не знала раньше? Мне показалось, что лошади голодны, и я, выхватив клоч сена из стоявшей в огороде копны, бросила через изгородь им под ноги, потом, протянув руку, хотела погладить жеребенка, но совершенно неожиданно кобылицамать, прыгнув ушами и зло взмахнув головой, чуть не укусила меня за руку. Я очень обиделась на кобылицу, подошла к Бурке, стала гладить его голову, шею, а он смиренно стоял и сонно щурился.

Приближались Новый год и рождество.

За день до праздника дверь в залу оказалась крепко закрытой и доступ туда нам был запрещен. В первый день рождества откуда-то приехали гости с детьми, и кухня превратилась в гостиную-столовую. На столе, накрытом льняными скатертями, стояли блюда с жареной птицей, домашняя ветчина, паштетные пироги с куриным бульоном, сладкие пироги и всевозможное печенье.

С утра к нам приходили деревенские ребяташки славить «рождение Христа». Покрасневшие от мороза, они останавливались у порога и, шмыгая мокрыми носами, начинали торопливо, глотая слова, петь коляду. Мы все, дети и взрослые, молча, с улыбками слушали их, потом мать давала каждому из них печенье, медные деньги, и ребята, радуясь подаркам, шли к следующему дому.

А вечером... вечером открылась двусторчатая дверь и всех пригласили войти в зал. Я вбежала туда вместе с другими детьми, и моему удивленному и восхищенному взору предстала высокая, пушистая, зеленая елка, занесенная у

корня «снегом». «Снег» блеснул и на ее ветках, где светились желтые огоньки восковых свечей. Их было много, они горели на каждой ветке, и от этих огоньков в зале было совсем светло. Между огоньками висели красивые разноцветные игрушки. Мы окружили елку хороводом, пели, играли в кошки-мышки, прыгали и просто бегали от удовольствия...

Праздник завершился подарками. Дядюшка Дмитрий снимал с елки игрушки и дарил их нам. А мы, возбужденные, нетерпеливые и любопытные, принимали их с непосредственной искрящейся радостью.

Масленица.

Солнечный, морозный, блестящий от снега день склоняется к вечеру. Меня и брата Костю усаживают в кошевку и укутывают в овчинный тулуп. Дядя Миша садится на козлы, и Бурка мчит нас вдоль оживленной деревенской улицы. Из-под его копыт летит снег, из ноздрей пышет пар, под дугой заливается, звенит колокольчик. Все сильнее и сильнее летит наша резвая лошадь. Мы уже далеко за деревней, в широком белом безмолвии. Мы мчимся долго и безудержно. Наконец экипаж поворачивает обратно, и мы с великим сожалением оставляем кошевку у самого крыльца...

Ранняя весна, время распутия и половодья. Снег быстро тает, и с каждого пригорка дружно текут внешние воды. Ясные дни сменяются пасмурными и дождливыми, а после снова ярко прогревает солнце. На улице глубокая грязь.

Около забора, где поменьше грязи, пробирается кочующая монашка. Она заходит в наш дом, отдыхает у нас. А на прощанье дарит мне медную, сложенную книжечкой пластинку с вытесненными на ней разными лицами богов. Я принимаю подарок равнодушно и кладу его в свои игрушки...

Скоро пасха. В доме идет уборка — белятся комнаты, выставляются рамы, стирается белье.

К пасхе земля подсохла, и на улице появились радостные зеленые лужайки.

Ночью я проснулась от шороха в зале и увидела стоящую в дверях бабушку. Она держала в руках зажженную восковую свечу над своей головой и рисовала

огнем крест на верхней части дверной рамы. Крест получился небольшой и черный. И тут я заметила на других дверях такие же черные, сделанные дымом, крестики...

В так называемый «прощеный день» я увидела непонятную и удивительную для меня картину: отец, упав на колени перед бабушкой, просил у нее прощения во всех причиненных ей обидах и, разрыдавшись, уткнулся головой в ее колени. Бабушка сказала, что она прощает его и велела ему встать. А потом то же самое сделали моя мать и дядюшки. А я смотрела и думала: — «В чем же виноваты все эти люди перед моей бабушкой?»

Позднее, гораздо позднее, я поняла глубокий смысл этого народного обычая — слишком много мы причиняем обид и огорчений, вольных или невольных, своим родителям и дедам и едва ли они могут проститься нам только в один этот «прощеный день».

Частенько у нас в доме бывал Митя — стекольщик, или бондарь, как его звали в деревне. Мужчина средних лет, с рыжими выющимися волосами, с такими же прокуренными усами и довольно искусными руками. Он мог сделать мебель, бочку, склеить разбитую посуду, застеклить окно. Но я не помню трезвым этого человека. Я видела его идущим по улице, и дорога ускользала из-под его ног. Видела, как он, шатающийся, не входил, а вваливался в наш дом, навязывая взрослым свои пьяные разговоры, в которых всегда слышались фразы о том, что скоро будет война и все мы погибнем. Такие разговоры производили на меня угнетающее впечатление. В моем воображении вдруг возникало деревенское кладбище, освещенное лучами предзакатного солнца, и, чтоб не слышать все это, я убегала на улицу...

Однажды отцу понадобилась Митина помощь, и мы пошли к его жилищу. Жил он всегда один, и никто не знал, была ли у него когда-нибудь семья. Говорили, что когда-то он был каторжником, а поселился здесь как ссыльный. Его изба-четырёхстенка, крытая уже прогнившей и зеленой от времени тесовой крышей, стояла на пригорке ближе к площади.

Маленький заброшенный дворик весь

зарос крапивой и полынью. Изба, обросшая мхом, внутри имела еще более жалкий вид — там, кроме столярного станка, повсюду валявшихся желтых стружек и нескольких разбитых чашек, ничего не было.

Митя никогда не закрывал свою избу на замок, даже если уходил из села в другие деревни и отсутствовал довольно долго. И на этот раз, когда мы с отцом вошли в избу, то не обнаружили дома ее владельца. Жилье его было жалко и мертво.

Года через два Митя-бондарь на переправе через Июс утонул пьяный с двумя другими собутыльниками.

Суббота. Во всех домах моют полы с дрсевой и голиком или скребут ножами-косарями. На чисто вымытые, с желтым отливом полы, стелют домотканые полосатые половики. Чистят золой медные самовары, предварительно намазанные квасной кислой гущей. Топят бани. Сохнет выстиранное в зольном щелоке белье...

Так бывает каждую субботу. Но сегодня, помимо этого, каждый хозяин украсил свои ворота двумя зелеными березками, чисто вымел двор и улицу около дома, и улица наша преобразилась, стала красивой и праздничной. Ведь завтра Троица, в деревне съезжий праздник. Троица — религиозное празднество. Но каждый такой праздник был славен не религиозностью, а своим народным торжеством, красотой обычаев, разудалым раздольем, безудержным весельем, искренней радостью и сердечным гостеприимством...

Мы всей семьей с самоваром, закуской и домашними печенюшками выезжаем за деревню и останавливаемся на бывшей Оржаниной пасеке, у подножья горы, среди зелени и цветов. Нашему детскому восторгу нет границ. Мы забираемся в лес, пробираемся по густой траве меж высокими зарослей папоротника, собираем прекрасные марьяны коренья, жарки, медунки, желтые петушки, пестрые сумочки-башмачки, саранки. С горы сквозь лес далеко виднеется серебряная лента Июса.

После завтрака бегаем за бабочками и стрекозами, стараемся их поймать, но они всегда улетают из-под самых рук, потом отдыхаем и молча наслаждаемся окружающей нас природой.

Деревня встречает нас шумным разнообразием. Откуда-то издалека доносятся звуки гармошки, слышен смех и веселый визг. Вдоль улицы идет нарядный и разноцветный, как букет, хоровод девушек и парней. Под балалайку они не спеша, плавно кружась, передвигаются и поют протяжную русскую песню. И вдруг балалаечник с силой ударяет по струнам, хоровод преображается, парни и девушки пускаются в пляс...

На лавочках и завалинках сидят степенные, бородатые мужички, нарядные, говязанные платками женщины, улыбаются, смотрят на веселящуюся молодежь, и, наверно, каждый из них вспоминает свою неугомонную юность. А по реке уже плывут пышные венки из цветов. Девушки, сняв их со своих голов, бросают в воду и ждут, какую судьбу уготовит им это цветочное гаданье.

Работник Николай привез из улуса свою семью — жену Анну и двух дочерей — Аришу и Саньку. Поместились они в летней кухне, а Ариша стала жить у нас. У Николая жена Анна была второй — первая умерла после родов, оставив ему маленькую Аришу. Трудно пришлось Арише с мачехой. Отец, над которым властвовала его бойкая жена, не мог защитить не только Аришу, но и самого себя. Николай все переносил молча и только курил свою вечную трубку.

На Анне длинное увесистое платье, изпод которого лишь чуть видны носки сагыр. Длинные рукава собраны в плечах и затянуты узким обшлагом из одноцветного материала. На плечах яркие красные ластовки. Две черные гладкие косы в концах связаны вместе, спокойно лежат на спине, в ухах круглые желтые серьги, на пальцах рук белые кольца.

Анна сидит на полу, поджав под себя ноги. Ее голова, повязанная цветными платком, склонилась над шитьем. Шила она дубленые и черные полушубки, борчатки, дохи из собачьих шкур, меховые рукавицы, ичиги из овчин и расшивала потом их цветными узорами. Шила всем, кто приносил ей заказы.

У Ариши типичное хакасское лицо с желтой гладкой кожей, узкий разрез черных глаз с припухшими веками, приплюснутый нос. Черные волосы заплетены во множество косичек (так заплетают только девушки). Голова повязана неизменным платком, на ногах сагыры, а

платье такое же, как у ее мачехи. Я очень полюбила Аришу, проводила с ней много времени и даже научилась петь хакаские песни.

Отец и я, взявшись за руки, идем в сторону церковной площади. Вдоль дороги, идущей мимо церкви, растут кочки пикульника, дальше площадь покрыта травой, а по другую сторону от дороги — широкая дорожка из гладких каменных плит, ведущая прямо к церкви.

Мы идем по этой обрамленной и пропосшей зеленой каменной дороге и через калитку входим в церковную ограду. Земля покрыта чудесной шелковистой травой, и из нее тянутся к солнцу желтые головки одуванчиков и голубые незабудки.

В центре — деревянная церковь с лазурным куполом, под ним висят разной величины колокола и живут голуби. Большой позолоченный крест на куполе ослепительно сверкает. Несколько тяжелых, обитых железом дверей закрыты большими висячими замками. Утреннее солнце играет в разноцветных стеклах окон...

Этот деревенский шедевр, молчаливый и величественный, был полон вдохновенной красоты, и, вместе с тем, была в нем неуловимая тень грусти, навеянная укрышками под сенью деревьев могилами с фигурными железными крестами.

У самой ограды, на высоких, спрятавшихся в зеленых зарослях опорах стоит деревянная колокольня — звонница с круглым куполом, под которым висит громадный и единственный колокол. К нему ведет длинная, со многими площадками, крашеная лестница. С разрешения отца я поднимаюсь все выше и выше по этой лестнице, пока, наконец, не оказываюсь под необъятным колоколом. Отсюда мне видна вся Муравьевка, луга и степь. Но смотреть вниз страшно, и я спешу спуститься обратно по скрипящей лестнице с шатающимися перилами, которые угрожают выскользнуть из-под моих рук...

При входе в ограду, почти незамечаемая в зелени деревьев, стоит небольшая деревянная сторожка. Она не закрыта, и мы беспрепятственно входим в нее через небольшие сени. Жил в ней церковный сторож — хромой мужик с деревянной ногой, но сейчас сторожка пуста. В правом ее углу печурка, на ней глиняный

горшок, железный чайник и такая же кружка. Слева — единственное окошечко, под ним столик и табурет, а прямо со входа у стены в углу — настил из досок. На нем — грязная непокрытая постель с засаленной подушкой. Давно не беленые стены серы от грязи, а у постели на стене почти до самого потолка немислимое множество пятен от раздавленных клопов. Но в оконце светило яркое солнышко, свисали ветви рябины и, качаясь от легкого ветерка, отражались на полу сторожки. И унылый вид ее отступал перед этой игрой света и тени...

И всегда в годы моего детства я помню отца рядом со мной. Вот, посадив меня на телегу, отец садится рядом, и мы едем по траву в луга к самому Июсу, по которому плывут плоты. Или, ведя лошадей в поводу, мы идем в кузницу на окраину деревни подковать лошадей, а там кузнец ставит их в станок и безжалостно забивает в копыта гвозди.

А вот мы сидим на дрожках, и Бурка везет нас в один из улусов. Мы заезжаем во двор за городью из жердей и входим в круглую деревянную юрту. В ней сидят несколько инородцев, мужчин и женщин, и медленно потягивают клубящиеся дымом трубки. По стене, на полках, ребром стоят цветастые тарелки и другая посуда. В очаге горит огонь. Около него хлопочет женщина. В открытую дверь заглядывают куры и виднеется выпряженный Бурка, привязанный к дрожкам... Во дворе под навесом на столлярном верстаке отец строгаёт широкую доску, я стою рядом и восхищенно смотрю, как умело работают его трудолюбивые руки, как из-под его фуганка падают желтоватые завитушки стружек.

Я пошла к подружке моей Кате. Дома ее не оказалось. Мать Каги, Наталья, — высокая, довольно полная женщина. В одной становине, поверх которой была накинута темная юбка, в остроносых, с загнутыми вверх носками, чириках, она сидела на корточках перед загнутой вниз трубкой. Из трубки в подставленную посудину вытекала белая медленная струйка. Трубка эта была плотно вставлена в круглый горшок, под которым горел огонь. Я заинтересовалась такой невидалью, спросила у нее:

— Что это такое?

— Самогон, — ответила она односложно и, помолчав немного, добавила: — Это

первач — самый крепкий, а после пойдет другой — послабее...

В другой раз я видела, как Наталья варила сусло. За двором среди поляны и крапивы — небольшая избушка с одним оконцем перед печкой. Посреди ее на скамьях стоял большущий деревянный чан. На дне его небольшим слоем лежала чистая смола. Наталья положила туда выпеченные, очень темные, сладковатые на вкус, пресные квасники. Залила чан горячей водой и, спустив туда раскаленные красные камни, прикрыла его чистой скатертью. В чане бурлило и клокотало, из-под скатерти рвался пар. Когда в чане перестало шуметь, Наталья большой деревянной веселкой тщательно размешала разопревшие квасники, потом еще раз спустила в чан раскаленные камни, еще раз повторила все то, что делала в первый раз, и после того как вся гуща осела на дно, она чуть-чуть приподняла длинную затычку. Из открывшегося отверстия в подставленное корыто потекла темно-коричневая ароматная жидкость. Когда все сусло вытекло, его унесли в погреб и слили в бочку. Потом Наталья снова налила в чан горячей воды, в оставшуюся гущу снова спустила раскаленные камни, и когда после размешивания гуща осела на дно, она также приподняла затычку, и из отверстия потекла более светлая жидкость. Но это было уже не сусло, а полев.

Сусло потом заквашивалось дрожжами, сваренными из хмеля, и получалось тогда из него так называемое пиво, отнюдь не хмельное, но несказанно вкусное, равно которому нет нигде.

Полев заквашивался теми же дрожжами, и чудесный квас из него был постоянным летним напитком в деревне.

Мы с Катей сидим в траве у дороги и рвем пикульки. Рвать их трудно, они очень крепко сидят в своих кочках, и мы до боли натираем ладони с наугой вырывая их. В середине кочек цветут голубые, с белыми прожилками цветы, напоминающие своей формой темно-фиолетовый ирис, но лишены всякого аромата и поэтому совсем не привлекают нас.

Катя, выбрав пикульку потолще, берет ее в рот, и она громко пицтит в ее губах, я пробую делать то же, и моя пикулька — тоном ниже. Наконец, надергав их по охалке, отягощенные ношей, мы идем в наш двор. Ариша сидит на крыльце и

плетет нам из пикулек красивые корзинки с ручками.

Для наших мальчиков Ариша делает красивого рисунка плети, которыми они понукают воображаемых скакунов и целкают так искусно, словно настоящие пастухи, когда гонят уставшее стадо.

Оставшиеся пикульки мы бросаем у крыльца, чтоб вытирать ноги. Но пикульки через несколько дней высыхают, и наши игрушки теряют свою прелесть.

Теперь я слышу разговоры в семье о том, что жизнь стала трудной. Нет денег, нет соли, нет керосину. Все запасы иссякают. После подобных разговоров, мне было больно видеть озабоченное и расстроенное лицо отца. Какая-то тяжесть ложилась на мое маленькое сердце, хотелось помочь отцу, подставить свои хрупкие плечи под тяжесть его забот.

Однажды вечером, сидя за общим чайным столом и видя отца опечаленным, я горько расплакалась. И когда отец спросил, почему я плачу, я ответила, что мне жаль его. Отец рассмеялся, посадил меня к себе на колени и ласково успокоил.

Теперь по вечерам мать и бабушка часто лили сальные свечи. Для этого у них был небольшой станок из двух деревянных пластинок, соединенных ножками. Пластинки, горизонтально укрепленные на некотором расстоянии друг от друга, имели несколько круглых отверстий, в которые вставлялись металлические трубки, имевшие форму свечи. В эти трубки продевался шнур, заливалось растопленное сало и, когда оно прочно застывало на холоде, за оставшийся конец шнура из открытого конца трубки вытягивалась белая, круглая, настоящая свеча. Эти свечи, вставленные в медные, блестящие подсвечники, теперь заменяли нам керосиновые лампы. Но и свечи экономили, заменяя их иногда простыми жировиками...

Давно уже не было сахара, чай пили с сахарином из оригинальных стаканов, сделанных из обрезанных бутылок.

Как-то вечером к нам заехали незнакомые вооруженные люди. Окружив крыльцо, на котором сидел отец, они о чем-то долго и строго расспрашивали его, вели между собой какие-то разговоры и, переночевав, уехали.

А через некоторое время приехал дру-гой вооруженный отряд и остановился у нас на постое. Теперь весь наш двор был занят солдатами и их лошадьми. В разгово-рах слышались имена Щетинкина и Голчака. К нам, детям, солдаты отнес-лись ласково и брату Косте, который с большим любопытством рассматривал их невиданные доспехи, они дали кусок са-хару. Сахар ему еще не приходилось видеть, он знал только сахарин, поэтому с недоумением посмотрел на белый ко-мок и, прибежав к матери, сказал: «Вот что мне дали солдаты!». Потом ему пода-рили карандаш и бумагу, но карандаш он тут же уронил на пол, и тот прова-лился в щель в подполье.

Эти солдаты жили у нас не более двух суток и уехали рано утром, когда мы с Костей еще спали. Из разговоров взрос-лых я поняла, что к нам заезжали два враждебных друг другу отряда.

Катя и я идем к Гребенниковым. Про-ходим мимо сборки. На ее крыльце, вы-ходящем в улицу, сидят ребяташки, дверь в сборню открыта, и прямо с крыльца мы входим в большую проку-ренную избу. В ней три окна, вокруг стен лавки. В простенке стоит белый, ни-чем не покрытый стол. Мы с любопытст-вом осматриваем неприглядную избу, в которой проходят деревенские сходки, и идем дальше.

Через переулок, напротив сборки, на углу стоит крестовый дом бывшего ла-вочника Гребенникова. На улицу выхо-дит большое крыльцо без перил и дву-створчатая дверь, запертая тяжелым же-лезным болтом. Эта дверь была входом в их лавку, которая теперь совсем за-крыта.

Подойдя к воротам, выходящим в пе-реулок и приоткрыв калитку, мы в ужа-се замираем — на нас с размаху бросае-ся большущий лохматый пес, он неисто-во лает, словно хочет растерзать нас на куски, но железная цепь крепко прико-вала его к завозне.

Через большие сени входим в светлую, просторную избу. На полу полосатые половики, в переднем углу стол, покры-тый клеенкой, вокруг стен крашенные лавки, с полатей, черным пятном, сви-сает пола шабура. Над русской печкой висит цветастая занавеска, закрывая от посторонних глаз многочисленные горш-ки.

Против окна сидит молодая голубогла-зая женщина — жена лавочника — Мар-фа и, как будто играя, весело и с боль-шим искусством прядет на самопряхе. Сморщенными от влаги пальцами вытя-гивает тонкую, ровную нитку из серой льняной бороды, привязанной к прялке. Легко и привычно покачивает подножку самопряхи. Колесо вертится так быстро, что становится невидимым. Крепкая нитка накручивается на цевку, как на шпульку в швейной машине. Рядом за прялкой сидит ее дочь Тая и тоже сосре-доточенно прядет, накручивая нитку на веретено.

Я восхищаюсь искусством Таи, внима-тельно слежу за ее работой и, не вытер-пев, прошу разрешить и мне попробо-вать. Тая охотно соглашается. Я сажусь на ее место и точно так же тяну и кручу нитку, поплывшая на нее и так же скру-чивая ее на веретено.

Марфа смотрит на меня, улыбается и похваливает. И мне кажется, что прять совсем не трудно, и я с радостью про-должаю прять.

Марфа в одной становине (так назы-вается рубаха, верхняя часть которой до талии, с круглым вырезом у шеи и ко-роткими рукавами, была базарной, то есть сшита из хлопчатобумажной белой ткани, а нижняя часть — из домашнего серого полотна). Поверх становины наде-та темная юбка. Когда Тая заменила мать за самопряхой, Марфа села за кросно, которое стояло у стены в углу, и, развернув незаконченное полотно, нача-ла ткать. Ее умелые руки пробрасывали челнок меж основой, босые ноги дружно перебирали подножки, равномерно и мягко бил станок. Все эти полотна потом белились: вывешивались мокрыми под весеннее солнце на заборы или просто расстилались прямо на траве на берегу реки. Прodelывали это несколько раз, и тогда полотна становились белее и мягче. Так же ткалось полушерстяное сукно, из которого шили брюки, юбки и шобуры.

Ариша собралась на реку полоскать белье. Мы с Катей и Костей увязались следом. Полоскать, конечно, будет только Ариша, а мы будем купаться.

Небольшая речка, некогда чистая, с мелкой галькой и песком на дне стала засоряться навозом, который вывозился на берег крестьянами после очистки своих скотных дворов. Вешние воды уно-

сили и смывали его в реку, дно ее сильно заилилось, вода загрязнилась, а берег покрылся наслоившимся за многие десятилетия ислевшим навозом.

То место в реке, к которому мы сейчас вышли, было самое загрязненное и самое мелкое. Здесь купались маленькие дети. Выше и ниже по реке были места более глубокие и более чистые. В верхней части реки, где начиналась деревенская улица, женщины, стоя на мостках, полокали белье, выколачивая его вальками, и стирали постилки, от которых плыли по воде желтые и зеленые, как тина, пятна. Оставив нас у сахаровой бани — она стояла на берегу над самым мелким местом, — Ариша пошла вверх по реке полоскать белье, а мы, переброя на другой берег, на котором росла мелкая густая травка, сняли с себя свои платки и с разбегу бросились в мутную воду.

Оба берега были густо покрыты зарослями тальника. Вдоволь накупавшись, мы идем в тальник есть слатеньки. Обрывая самые молоденькие побеги тальника и очищая их от кожицы, мы съедаем самую нежную и мягкую, кислосладкую, чуть вязкую часть, а оставляя, более жесткую, изжевав и высав из нее сок — выбрасываем.

В тальнике страшновато. Мы вздрагиваем при каждом подозрительном шорохе. Смотрим, как бы из зарослей не выскочил и не бросился на нас барсук, которым пугали нас взрослые.

А потом мы выбегаем на луг, где среди обилия и разнообразия цветов высоко покачиваются рупоры желтых лилий.

Луг простирается далеко, конца ему нет, а посреди его, совсем недалеко от покотины, длинной лентой протянулось озеро изумительной красоты! По его берегам, то суживающимся, то снова широко расходящимся — заросли черемухи, боярышника, шиповника и тальника. В этих зарослях можно встретить искусно запрятанное гнездо маленькой птички и гнездо дикой утки с крупными голубыми яйцами. Прозрачная, чистая вода озера, питающегося подземными родниками, очень холодна и спокойна. В ее неподвижной зеркальной глади отражаются прибрежные кустарники, вдали плавают дикие утки с выводками.

Меня влечет к озеру какая-то притягательная сила. Я наслаждаюсь его великолепной девственной благодатью, с которой не может сравниться никакое безбрежье бушующих морских вод! И

радуюсь, радуюсь этой вдохновенной красоте. Покой этого несравненного уголка лишь изредка нарушался выстрелом охотника, вспугнувшего стаю диких уток, да прогремевшей мимо телегой косаря.

Рабочее утро в деревне начиналось с рассветом. Пастух ехал верхом на лошади вдоль деревни и громким голосом возвещал: «Выгоня-я-й, выгоня-я-й!» — и настречу ему из каждого двора выгоняли хозяйки коров, и мычащее стадо выходило за деревню. После него оставались клубы оседающей пыли да парящие темные лепешки на дороге.

Вслед за стадом маленькие пастушки-подростки гнали овец на пастбище. Во дворах слышался птичий гомон — кудахтали куры и гогоча шли к речке гуси и утки. Топились в домах русские печи, пеклись наливные и творожные шангги, калачи, выпекались пышные пшеничные и ржаные хлебы на опаре, варился обед, и с восходом солнца деревня пустела — сенокос был в разгаре.

В один из таких дней отец поставил на телегу лагушку с водой, туес из бересты с варенцом, узелок с провизией, усадил на нее мать с Костей на коленях, меня, сел сам с Николаем, и запряженная Халимка повезла нас на покос. Сзади у телеги бежит Бурка, его мягкие губы совсем близко у моего лица, и я ощущаю на себе его теплое влажное дыхание.

В ложине между гор, красиво разбегаясь, стоят заостренные копны и на большой поляне лежат ровные ряды скошенного сухого сена. Здесь наш покос.

Солнце уже подсушило утреннюю росу, и мать с отцом и Николаем деревянными граблями сгребают сено в валки, а валки копнят в копны.

Утренняя прохлада сменяется жарко накалившимся днем, и, спасаясь от жары, мы с Костей сидим в тени около леса. Над нами щебечут птицы, вокруг трещат кузнечики и сильно кусают комары.

После обеда отец ушел в лес и вернулся оттуда с целой охапкой длинных пучков. Мы обдираем с них верхний, с пушистыми ворсинками слой и едим мягкие хрустящие трубки. А потом мы с Костей, сидя верхом на лошадях, возим копны в остожье, где отец мечет зарод.

На наших лошадях узда и хомут с привязанной к нему длинной веревкой. Когда мы едем за копнами, веревка та-

щится за нами длинным хвостом, а подвезжая к копне, Николай забрасывает ее вокруг копны, привязывает свободный конец к хомуту, подкапнивает, и мы ведем копны к зароду.

Когда зарод становится выше, на помощь к отцу приходит Николай, он забирается наверх, отец подает ему сено на трехрогих деревянных вилах. Николай плотно укладывает и вершит зарод. Потом душистые и зеленые бока зарода очесывают граблями и на его заостренную вершину с обеих сторон кладут засохшие слегги, чтоб ветром не сносило сено. Оставшиеся копны сметали в приметок впритык к зароду и ворота остожья задвинули жердями.

Уже начинало смеркаться. Когда отец косил траву для лошадей, из-под его лотовки взлетела серенькая птичка. Литовка замерла в прокосе. Мы, подбежав к отцу, увидели в стеблях скошенной травы гнездышко, а в нем, увитом сухой травкой и мягкими перышками, лежало несколько маленьких голубоватых яичек...

Мы едем домой, высоко сидя на траве. Нас обгоняют крестьяне с песнями, смехом и шутками, хотя устали они чрезмерно. Такой уж характер у русского крестьянина.

После раздела семьи хозяйство наше стало маленьким. Дом, в котором мы жили, был не собственный наш, а общественным, и его нужно было освободить, потому что в нем решили открыть начальную школу. И тогда родители задумали строить дом.

Неподалеку от нас был довольно большой пустырь, на котором еще не так давно стояла пустая развалившаяся изба, потом она куда-то исчезла, и остались на пустыре густо и далеко разбросанные кучи перегнившего навоза, а дальше — склонившийся тальник над рекой.

На этом пустыре каждое лето рождалось много шампиньонов. Играя, мы вдруг наткнулись на выпуклые, чуть-чуть розоватые шляпки с шероховатой поверхностью, надевшие на толстые белые ножки, они росли прямо тут же, на кучах, кое-где заросших бурьяном. Мы увлеченно собирали их в подолы и с радостью несли матери, а она очищала с них верхнюю кожицу, нижнюю — коричневую подкладку-бахрому и, вымочив в воде, жарила в сметане.

Постепенно отец с Николаем навозили плитняку на фундамент и сложили его на пустыре. Плотники нарубили лесу и сложили его там же для просушки в сруб.

Поспела самая вкусная ягода — клубника. Мы собирали ее на горе Чуч. Эта щедрая гора когда-то была покрыта густым смешанным лесом, где водились мелкие звери, а иногда забредал и медведь. Сейчас о былом напоминали лишь многочисленные пни в густой и высокой траве. Зато здесь обильно росла клубника. Ее хватало на всю нашу деревню...

На горе уже были люди, и все мы, рассыпавшись по взгорью, собирали крупную красную ягоду кто в ведро, кто в корзину, а я в туюс из бересты. Когда туюс наполнялся, рвала самые зрелые ягоды и во множестве их поедала.

С вершины горы Муравьевка казалась совсем близко. Влево от нее простиралась луга и серебрившаяся лента Июса. Справа раскинулась широкая степь, в ее дали виднелись улусы, небольшие озера и синие горы.

Недалеко от деревни видны огороженные могаги. За изгородь устремляется маленькая горная речка и орошает крестьянские пашни. Хлеб там сейчас уже сжат и по всему жнивью ровными рядами стоят суслоны.

По всей степи разбросаны аккуратные зароды душистого сена. От степи веет невыразимо уютной, спокойной красотой.

Лето кончается. Теперь по деревне часто двигаются дроги, доверху нагруженные снопами. Это крестьяне свозят с полей хлеб на свои гумна и складывают его в овин. Женщины рвут посконь, лен и коноплю, вымачивают их в реке, потом просушивают в банях или избушках и мнут в деревянных мялках, вокруг которых образуются кучи костриги.

Опустели огороды. На гумнах слышится стук цепов, и овины-клады превращаются в ометы соломы. В небе видны летящие треугольники журавлей, и доносятся до земли их многоголосое переличатое курлыкание. Пролетают гуси и утки, утверждая своим отлетом наступление осени. Осень принесет с собой дожди и ветры, при которых как-то особенно настойчиво скрипят ставни и гудят стропила под крышами.

Многие крестьяне на зиму переедут со своим скотом на заимки, чтоб кормить его там, на месте, не перевоза сено в деревню. А там и зима нагрянет с метелями, с вьюгами, с глубокими забоями. И жизнь деревни замкнется в своих дворах и избях.

Долгие зимние вечера молодежь будет проводить на посиделках, где девушки будут чесать лен и посконь специальными щетками, а потом прясть их на пряхках.

Но пока еще стоит осень, и ее дождливая пора вдруг сменяется невыразимо прекрасными прозрачными спокойными днями. Чисто лазурное небо, и все на земле вокруг пронизано изумительным золотым светом. В воздухе летит длинная тонкая паутина. В поле еще живут белые ромашки, и неожиданно можно встретить у себя в телятнике желтый одуванчик или маленькую незабудку.

В один из таких лучезарных осенних дней мы с отцом, попроцавшись с родными, садимся в тарантас, запряженный парой лошадей, и едем в далекое село Новоспасское, где я буду учиться.

Новоспасское — село большое. Раскинулось оно на берегу широкой протоки Енисея. На главной улице, протянувшейся вдоль высокого берега, среди старинных крестьянских домов, стоят двухэтажные купеческие дома. В самом центре села большая каменная церковь. В ее ограде, огороженной фигурным деревянным забором, растут кусты черемухи, высокая трава и видны могилы с каменными плитами и железными крестами.

На занятия в школу я опоздала на целую неделю. И первый раз оказавшись в ее стенах, в очень большом зале, я была ошеломлена многоголым шумом и незнакомой обстановкой. Растерянная и сробевшая, смотрела я широко открытыми глазами, как мальчишки поднимались по высоченной лестнице к самому потолку и оттуда стрелой летели вниз, сидя верхом на перилах.

Прозвенел звонок. Все поспешили в свои классы. На стене в классе, на самом видном месте висит портрет человека в траурной рамке. У него маленькая борода и небольшие усы. Он смотрит на нас прищуренными глазами и улыбается очень доброй улыбкой, как будто о чем-то разговаривая с нами. Это — Ленин,

умерший в январе нынешнего, двадцать четвертого года...

На другой стене висит разграфленный на клетки с числами список учащихся. В нем мы находим свои фамилии и против них ставим крестик каждый день, как только приходим в школу. Но мы не всегда правильно «угадываем» свои фамилии и часто крестики ставим совсем не там, где нужно.

На больших переменах в хорошую погоду мы выходили во двор и бежали на берег, к высокой пожарной каланче, около которой была большая зеленая площадка, а на ней деревянная рама с железными кольцами. Здесь же маленькие качели.

Против села два острова. Огибая их, протянул свой серебряный рукав древний Енисей. Зовут этот рукав Протокой. Сюда заходят пароходы, приплывают плоты из Минусинска, до предела нагруженные вкуснейшими арбузами.

Зимой мы играли на Протоке в снежки. Мальчишки катались по ледяным прогалинам, барахтались в снегу и устраивали кучу малу.

Незаметно подкралась весна. Дни стали длиннее. Солнце радостно грело, ослепительно блестя на подтаявшей, почерневшей дороге. В ее проталинах оголились кучки конского навоза, и по ним гордо и неспешно вышагивали черные грачи, что-то высматривали и клевали. Серыми шариками прыгали воробы.

Наш учитель Андрей Григорьевич посоветовал нам вести дневники наблюдений над природой, записывать погоду, прилет и отлет птиц, набухание и развертывание почек на деревьях, появление травы, цветов, насекомых...

Прилетели скворцы и оживили весну своими песнями. Ребята приносили в школу голубые лютики, ветки тальника и черемухи с набухшими почками. По улицам потекли бурные ручьи.

Скоро дороги стали подсыхать, лишь в тени под заборами все еще лежал черный и рыхлый снег.

Наша площадка на берегу Протоки совсем высохла, и на ней появилась маленькая зеленая травка. Протока стала синей и вот-вот должна тронуться. Деревья на островах ожили и стояли, прикрывшись зеленоватой дымкой.

Настал и последний день учебного го-

да. В один из ярких июньских дней я снова вернулась в родную Муравьевку.

Во мне вдруг проснулась какая-то неизбывная тяга к труду, и я с удовольствием вместе с матерью обихаживаю свой дом: усердно мою полы, чищу самовар, подметаю двор, стираю, сею муку, после чего мои волосы становятся седыми, поливаю огород.

Мне нравится наш новый дом, хотя многое в нем еще недоделано.

У нас теперь нет хакаса Николая, он живет в улусе, и отец один управляется со всеми делами.

У меня появились новые товарищима-льчишки. Собственно, это были товарищи моих подростков братьев, но почему-то получилось так, что они стали больше моими товарищами. Большую часть времени мы проводим у реки. Играем в прятки, жмурки, в лапту, гор-родки и бабки.

Обжигаясь крапивой, мы лазим по заборам, по крышам навесов и старых избушек. Я залезала даже на крышу нашего дома, и с высоты мне хорошо был виден преобразившийся пустырь.

Как-то в деревне произошел случай, внесший в обыденную жизнь некоторое оживление. У Сергея Худякова ушла вечером на игрище его сестра — молодая девушка Ульяна, не ночевала дома, не вернулась и на следующий день. Ее искали у подруг, но и там ее не оказалось. А потом стало известно, что она вышла замуж убогом в отдаленную деревню, верст за пятьдесят от нашей Муравьевки.

Вскоре потерялась и наша Ариша — вышла перед вечером куда-то по делу, да так и не вернулась больше. Оказалось, что и она убогом вышла замуж за хакасского молодца в один из отдаленных улусов.

Наша деревенская молодежь часто толпится около бывшей Митиной избы. Теперь эта изба обновилась, к ней пристроили горницу, перекрыли крышу.

В этом доме живет направленный в село пожилой, сухощавый и строгий на вид коммунист Тимшанин. Он работает у нас в Муравьевке председателем сельского совета. У единственной его дочери Валентины парализованы ноги. Эта симпатичная девушка с большими серыми глазами, с чуть вздернутым носом на крупном лице, была умна, всегда неизменно весела, трудолюбива и предпри-

имчива на разные выдумки. Она-то и привлекала к этому дому деревенскую молодежь.

Держа в руках неизменное рукоделие, сидя в носилках за воротами своего дома, окруженная девушками и парнями, она всегда была душой и веселого, и серьезного разговора. Около ее носилок иногда играла балалайка и слышались песни. Мой дядюшка Юрий стал постоянным ее поклонником, он часто бывал у Вали в доме, они вместе читали книги и много спорили, обсуждали их.

Ее приятельницей стала моя магь. Иногда Валу в носилках приносили к нам, и тогда целый день она проводила у нас. А иногда Тимшанины усаживали ее на дрожки и везли вместе с собой на покос, и тогда она, радостная и счастливая, ползала там по траве, нежно ласкала ее, собирала цветы и что-то шептала им, улыбаясь.

Школа меня встретила знакомым разноголосым шумом и неподдельной радостью одноклассников. Теперь наш класс помещался в другой комнате, которая служила и сценой. Она была на некотором возвышении, ее широкие стеклянные двери, выходившие в зал, раздвигались в противоположные стороны, и в праздничные дни учащиеся старших классов ставили здесь самодельные спектакли.

На столе у окна мы теперь часто видели журналы «Безбожник», «Лапоть» и газеты, в которых читали стихи Бедного, Голодного, Маяковского. Агитплакаты Маяковского потом срисовывали наши школьные художники и развешивали их в школе, наряде и на заборах зданий.

В нашем классе учились брат и сестра Примоленные. Алексей был заводилой и зачинщиком всяких мальчишеских шалостей. На бледном лице Таисьи выражалось властное упрямство, которое всей ее фигуре придавало какой-то озлобленный вид. Эта-то необщительная, серьезная девочка и стала моей первой, самой настоящей, преданной искренней подругой.

Наша чистая детская дружба была счень эгоистична, самозабвенна и ревнива. Самые первые свои сокровенные тайны мы поверяли друг другу и всегда были вместе.

Недавно в их семье появилось еще одно маленькое существо — девочка. Их отец был коммунистом. Он первым устроил новорожденной октябрины, которые проходили в нардоме в торжественной обстановке.

В большом зале, украшенном портретом Ленина, плакатами Маяковского и лозунгами на красных полотнищах, было много народу. На сцене стоял большой стол, накрытый скатертью, за столом, в центре, сидели супруги Примоленные с ребенком на руках, а рядом с обеих сторон — представители местной власти и комсомола.

Девочку назвали Мартой. Ее здесь же зарегистрировали и вручили родителям надлежащий документ. Восприимницей Марты стала комсомолка по имени Ким. Эта девушка в костюме цвета хаки, с портупеей через плечо, с лицом волевым и вдохновенным, которую я часто видела идущей по селу с другими комсомольцами в таких же костюмах, стала для меня лицом символическим. Таким, как она, — деятельным, волевым, организующим — представлялся мне весь комсомол...

Вот и снова весна. Воздух пропитан живительным запахом пробудившихся земли и леса. С крыши дома по хрустальным сосулькам стекает вода в прозрачный ручеек, на дне которого весело сверкает промытая мелкая галька. На скворечнике, что на крыше сеновала, сидят скворцы и заливаются бесподобными трелями.

Я в смятении. Наступила предпасхальная суббота, когда вечерняя служба в церкви продолжается далеко за полночь. Тетушка, у которой я живу, собирается пойти на это, так называемое великое стояние, и велит одеваться и мне. Но как же мне идти в церковь, если нас в школе давно уже убедили в том, что бога нет, а религия — опиум народа? Как же пойти, когда в школе появились пионеры в красных галстуках, которые рьяно высмеивают учеников, бывающих в церкви, и рисуют на них карикатуры в стенной газете?

Я несмело говорю об этом тетушке, но она и слушать не хочет моих возражений. И вот мы стоим в церкви, в густой массе народа. Мне ничего не видно, слышен лишь густой бас священника.

Мы держим в руках зажженные тонкие восковые свечи и стоим долго, так долго, что у меня устают ноги и очень хочется

спать. Потом все преклоняют колени и молятся. К концу службы вслед за священником и толпой, несущей хоругви и иконы, мы выходим из церкви в противоположные двери, обходим ее кругом и, наконец, почти под утро возвращаемся домой...

Хорошо, что никто из наших учеников меня не заметил.

Первое мая пришлось как раз на пасхальную неделю. День веселый и солнечный. По улицам села идет грандиозная, очень красочная демонстрация. Развешаются красные флаги. Звучат песни.

В центре колонны, разделяя демонстрантов, — запряженная в телегу лошадь. На телеге — большой короб, в котором обычно возят навоз. В коробе уныло стоят одетые во фраки, белые манишки и высокие блестящие цилиндры — Чемберлен и его соратники-капиталисты. Они исподлобья озирают демонстрантов, которые грозят кулаками, насмехаются над ними. На коробе висит плакат — «Долой Чемберлена! Долой капиталистов! На свалку!».

За телегой идет поп с кадилом в руках, в черной рясе, с распущенными волосами. На его груди болтается крест, а на спине наклеен плакат — «На свалку!».

Потом идет группа рабочих и крестьян. Они несут в руках серпы и молоты. Над ними — лозунг: «Да здравствует смычка!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Мы, школьники, идем среди демонстрантов и весело смеемся над ряженными.

После Первомайских праздников мы участвовали в субботнике по очистке двора нардома. Взрослые ломали старые надворные постройки бывшей богадельни, на расчищенном месте рыли ямы и садили березки, черемуху, тополяки, а мы носили в ведрах воду с реки и поливали их.

К концу дня двор нардома стал неузнаваем. Вместо захлащенного и заросшего бурьяном двора, была чистая площадь, усаженная ровными рядами зеленых деревьев. Теперь вход в избу-читальню был далеко виден, к нему от самых ворот вела выложенная из кирпича красная дорожка. По этой дорожке мы с Таей вошли в избу-читальню и, оробевшие, остановились у дверей.

Посреди комнаты стоял очень длинный стол, накрытый красной скатертью, на нем лежало много разных журналов и

газет, на скамейках с двух сторон сидели и читали люди. Из двора нардома был виден большой деревянный дом на берегу, в котором помещалась больница, а дальше, около пожарной каланчи, новый дом сельсовета. Рядом с двором нардома, ближе к берегу, строилось новое здание РИКА, за церковью расчищалось место для нового нардома, дальше, за селом, близ горы Толстый Мыс — возводился целый больничный городок.

По селу объявили, что в нардом проведено радио и желающие могут придти и послушать Москву. Когда мы в назначенный час пришли в нардом, там уже полно было народу. Все стояли и смотрели на большую черную тарелку, висевшую на стене высоко под потолком. Рядом, на приставленной лестнице, стоял человек, что-то подкручивал в этой тарелке, но она молчала. Все затаили дыхание, боясь пропустить момент, когда заговорит радио. Мы уже устали ждать, когда человек стоящий на лестнице скажет:

— Внимание, товарищи, слушайте!

Из черной тарелки послышался негромкий шум, он то приближался, то удалялся, в шуме где-то далеко был слышен говорящий человеческий голос, но ни одного слова разобрать было нельзя. Огорченные, мы еще долго стояли в надежде услышать голос Москвы, но в этот вечер так ничего, кроме шума, и не услышали.

Наша школа переименована в школу колхозной молодежи, и учебе в ней проводится со специальным сельскохозяйственным уклоном. Помимо общеобразовательных предметов, с пятого класса введена агрономия.

Школе отведен для посевов опытный участок земли, утепленный скотный двор. В нем живут две коровы, лошадь и свиньи с поросятами. Во всех старших классах организованы бригады по уходу за скотом. Эти бригады, чередуясь, ухаживают за животными.

В нашей бригаде четыре человека. Мы тщательно вычищаем скотный двор, предварительно выгнав животных на прогулку, задаем им корм по рациональной таблице, поим водой комнатной температуры и все, что нами сделано за день, записываем в дневник. Вечером мы сдаем свою смену очередной бригаде. Все

продукты, полученные от наших животных, идут в кухню школьного общежития.

Быстро, уверенно, хотя не без ошибок и трудностей, укореняется новая жизнь в Новоспасском. Наша артель в самом своем начале была реорганизована в коммуну, в которую входили несколько окрестных сел. Но такое огромное хозяйство затрещало по швам и вскоре снова было разукрупнено в отдельные колхозы.

Теперь нет в селе бывших купцов и зажиточных крестьян, они лишены избирательных прав и высланы. Их дома и весь инвентарь перешли в общественное пользование.

В селе проходит всеобщая ликвидация неграмотности, и мы, учащиеся старших классов, принимаем в ней самое активное участие. Как и многие другие, каждый день после уроков я хожу на дом к своей ученице — молодой женщине и учу ее грамоте. Но вскоре в здании нашей школы был открыт вечерний ликбез, и все наши ученики стали учиться в этой школе...

Вдруг по селу прошла тревожная весть: в ближайших лесах появилась банда, которая угрожала разгромом нашему и соседним селам. Но таким шайкам не суждено было долго жить: ее главарь вместе со своим товарищем был взят в своей собственной бане, и банда разгромлена...

Сельская церковь теперь снесена... Почти вплотную к ее ограде стоит большое деревянное здание нового нардома, а в старом каменном работает маленькая электростанция и освещает наши дома до двенадцати часов ночи.

В новом нардоме мы работаем часто и с увлечением. К торжественным праздникам мы пишем лозунги и плакаты, выпускаем стенгазеты и с большим увлечением ставим спектакли.

Мы — синеглазники. Все участвующие в самодеятельности одеты в синие сатиновые толстовки — блузы, а головы девочек повязаны красными платками. На сцене мы представляем живую газету и, как бы перекликаясь друг с другом, поем сатирические частушки, в которых высмеиваем провинившихся общественных руководителей и некоторые организации, как например, коммунальный, по вине которого увязают в грязи на дорогах колхозные телеги. Высмеиваем женщин, увлекающихся косметикой — как при-

верженцев самой низшей прослойки общества. Зал отвечает смехом и аплодисментами.

Теперь я учусь в последнем, седьмом, классе нашей школы. Нынче в наш класс поступило несколько новых, взрослых уже учеников, которым помешала учиться гражданская война и тяжелое послевоенное время...

В конце сентября все старшеклассники выехали в ночь на колхозное поле, чтоб помочь на обмолоте хлеба. На горе, где когда-то мы травили сусликов, было большое сжатое поле. На нем стояли клады, а между ними прижалась бурая от пыли молотилка. Вдали виднелись неубранные суслоны, а за ними на взгорье шумел лес.

Когда мы приехали в поле, солнце садилось, и колхозники, сидя вокруг костра, ужинали. Потом воцпала полная луна, и при ее свете заработала молотилка. Люба Кулик, Вася Терсков и я стоим наверху у самого жерла грохочущей молотилки и спускаем в него снопы, летящие к нам с кладей.

Над нами облаком вьется пыль, летит измелченная солома. Мы работаем с увлечением и большим энтузиазмом. Работаем долго, до изнеможения, пока не приходит конец кледи. Присев на траву, чтоб дать немного отдохнуть нестерпимо ноющему телу, мы взглянули друг на друга и легли от неудержимого смеха. В лесу отдалось громкое эхо, потревожив, наверное, не одну спящую птицу.

Мы увидели себя как бы со стороны: раскисшими от усталости, с растрепавшимися волосами и серыми, от плотного слоя пыли, лицами...

Отдохнув, мы с Любой Кулик идем в лес. Лес молчалив и спокоен. В нем нет ярких дневных красок, есть лунный свет и тени, создающие великолепный живой шедевр.

Мы, притихшие, стоим на светлой полянке, и вдруг нам показалось, что вот там в глухой тени сидит и смотрит на нас какое-то горбатое чудовище, а вот совсем близко, из этих темных зарослей торчат чьи-то длинные черные уши. А дальше... «там чудеса, там леший бродит...». И мы оставляем лес, очарованные его заколдованной красотой.

В воскресный день мы едем на остров собирать калину. Знакомые мальчишки взяли нас переправить на лодке через Протоку. Мы плывем, стараясь держать

лодку вверх по течению, чтобы ее не снесло в конец острова.

На середине реки течение быстрое. Мне страшно смотреть в почти синюю, бездонную глубину. Наконец лодка скользнула по прибрежному песку, и мы выходим на берег, покрытый крупной галькой, идем по острову через заросли тальника, черемухи, смородины.

В глубине острова мы находим ветвистые кусты калины, густо увешанные красными ягодами. Наклоняем ветки, обрываем гроздьи и кладем в корзины. Дома мы повесим их под стропилами на длинные шесты, где они в свежем виде сохраняются всю зиму. А зимой тетюшка будет парить калину с сахаром в глиняном горшке в русской печке и затем подавать к чаю или печь с ней сладкие пироги.

Хорошо и уютно здесь на острове. Каждый колок, каждая поляна ярко освещены полуденным солнцем. Мы незаметно для себя пересекаем остров и оказываемся на крутом берегу самого батюшки Енисея.

По широкому руслу между островом и горами Енисей несет свои воды без единой волны, и лишь в его быстрине видны устрашающие воронки.

На обратном пути мы находим немного малины в зарослях, защищенных высокой крапивой, и оставшуюся на самой вершине кустов черемуху. Потом, сидя на поляне в зеленой траве, мы отдыхаем, не подозревая, что в скором будущем, я буду страшно скучать по этой зеленой траве, которую буду видеть только в парке, где нельзя просто посидеть и ощутить зелень своими ногами. И тогда так мучительно захочется погладить ее, приласкать, как живое существо, прижать к своим щекам и вдохнуть ее запах и прохладу.

Вот уже два дня стоит сплошное марено дым, даже дышать трудно. Говорят, где-то горит лес, но точно никто ничего не знает.

И вдруг по радио, которое теперь днем слышно хорошо — вечером едва-едва разберешь, — объявили, что горит степь, пожар распространяется очень быстро и угрожает соседнему селу. Для ликвидации пожара должно немедленно выехать все трудоспособное население.

Наша автомашина до отказа набита людьми, на задней едут еще. На месте пожара густая пелена дыма, огонь сплош-

ным валом идет к лесу и неудержимо катится по степи. Чьи-то быстрые руки бросают к нашим ногам большие ветки деревьев, мы схватываем их обеими руками, хлещем по бурному огню, но сильный ветер выхватывает пламя и бросает его вперед сразу на несколько шагов.

Наши ветви в руках горят, мы берем свежие и, успевая протереть слезящиеся от дыма глаза, неумолимо идем на огонь несколькими сплошными рядами. Огонь сжимает свои границы, и наконец после нескольких часов упорной борьбы многих сотен людей пожар был потушен. Но какое печальное зрелище представляла теперь степь! Пожар пришел издалека, из соседнего района и на своем пути сжег, наверное, немало леса, может быть, хлеба. Насколько хватал глаз, степь была черной и унылой, а мы, прокопченные дымом, с красными глазами, с обгоревшими ресницами и бровями, представляли не менее печальную картину.

Ясная, морозная зимняя ночь. Яркое светит луна, в синем небе мерцает множество звезд. Мы с Любей идем по селу, по снежной, изумительно белой, хрустящей дороге. Идем потому, что нам неудержимо хочется идти. Идем по волшебной улице мимо домов, украшенных чарующей морозной завесой и светлыми тенями, идем за село, за мост, через Протоку.

Мороз жжет наши щеки, забирается под пальто, а в наших сердцах трепещет несказанная радость жизни, наши чувства наполнены великолепной красотой ночи, и звучит в них невыразимо прекрасная музыка...

Снова весна. Пятнадцатая весна в моей жизни. Мы с тетушкой сидим за воротами на лавочке, у наших ног лежат неизменные спутники — маленькие собачки, через забор к нашим головам склоняются зазеленевшие ветки черемухи.

Издали донесся какой-то незнакомый грохот, он все приближается и усиливается. И вдруг из-за поворота показалась машина с высоко торчащей трубой, из нее выбрасывался вонючий дым. Почти рядом с трубой сидел человек за рулем, управляя машиной. Медленно двигались

четыре огромных колеса, оставляя на сыроватой земле глубокие взбитые рубцы. Это шел по нашей новоспасской земле первый трактор «фордзон»...

Уже наступили сумерки, когда я увидела на горе Толстый Мыс длинную яркую змейку огня. Огненная лента, причудливо изгибаясь, уходила по горе все дальше и дальше. Это кто-то «пустил» пал, выжигая старую прошлогоднюю траву, чтоб дать свободу новой поросли. А на горе, в заросшем лесом логу, виднелся еще не растаявший снег. На этой горе кроме клубники растут полынь и стебли осолодки с мелкими листьями. В конце лета мы ломаем эти стебли, рвем полынь и делаем из них веники, а зимой ими, распаренными и душистыми, подметаем пол...

Войдя в комнату и не зажигая огня, я сажусь у окна, опершись о подоконник, и думаю. О чем? О чем-то хорошем, но неопределенном. Это что-то радостью подкрадывается в сердце, вселяет в него вдохновение.

На горе за Енисеем ярко горит костер, это, должно быть, мальчишки вышли в ночное пасти лошадей...

Теперь нет на земле красивого старинного села Новоспасского. Жители его постепенно выезжали в новое село, строящееся в горах, километрах в двадцати от старого, а многие выехали совсем в другие места. Оставшиеся пустые строения перевозились или просто оставлялись полуразрушенными.

Когда взрывали одно из кирпичных зданий, большая деревянная балка взлетела так высоко, что ее почти не стало видно, а потом, обессилев и снова все увеличиваясь, она рухнула на землю и разбилась на мелкие щепы.

Да, нелегко, разрушать то, что создавалось десятками и сотнями лет искрыными руками. Нелегко, хотя нужно.

Все это постепенно заливала вода нового Красноярского моря. Она заливала поля, острова, плотную подошла к горам, затопив их до половины.

Несет теперь море свои глубокие воды, смывая на пути остатки древности. По его волнам плывут доски, бревна, вырванные с корнем деревья.

Не узнать теперь земли Новоспасской, осталась лишь короткая память о ней...

Игорь Киселев



Я твердо уверовал в это,
Ни капли сомнения нет,
Что лучшие в мире поэты —
Мальчишки двенадцати лет.

Курносые первопроходцы,
Затейники и бунтари.
Как брызжут у них изнутри
И рыцарство, и донкихотство!

А в образ как входят, надеясь,
Что все это вправду, всерьез:
Индеец — так он уж индеец,
От пяток до самых волос.

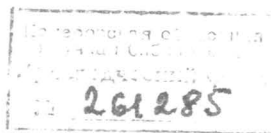
Неровен их путь и неглазок,
И ссадины, и синяки,
Зато зажигает зрачки
Сияние тайн и загадок!

Неслышную музыкой греясь,
В плену у созвучий и тем,
Поэт — он ведь тоже индеец,
Хоть это понятно не всем.

Сервантам назло и перинам
И скуке обыденных стен —
Он лихо летит по перилам,
Хоть это заметно не всем.

Суров его быт и нескладен,
В нем холода здосталь и тьмы,
И все понимают, что ссадин
Поэты не просят взаимы.

Шутливы они иль угрюмы,
Но в чем-то особом — равны.
Недаром их зрелые думы
Мальчишеской верой полны.



Моцарт

Постигнувший душу людскую
Всей силой добра и любви,
Вот Моцарт, смеясь и тоскуя,
Колдует опять над людьми.

Дома и слова постарели,
Но снова, угрюм и безлик,
Наш старый знакомый — Сальери —
Проходит, подняв воротник.

И мне все страшней и тревожней
В сиянии гаснущем дня.
— Пожалуйста, будь осторожней! —
Но Моцарт не слышит меня.

Он все уже знает заранее,
И чья хладнокровная речь
От легкой отваги сгоранья
Посмеет его уберечь!

В кругу знатоков тонкогубых
Талант ему гибель сулит.

Мерцает невидимый кубок,
Невидимым ядом налит.

Наполнен он завистью зыбкой,
Совиною злобой большой...
И пьет его Моцарт
С улыбкой
И с легкой и доброй душой.

Печаль бесконечной потери
Пройдет за века и моря...
Вот только с собою Сальери
Берет он в бессмертие зря.



От стихов, от бессониц, от улиц,
Ошавевших, бензином сопя,
Ухожу, стариковски сутулясь,
Замыкаюсь в себе и в себя.

Как на поиск целебного средства
Продираюсь сквозь гомон и чад
К родниковому лепету детства,
Где веселые дятлы стучат.

Там, забыв про душевную смуту,
Я прикинусь щенком молодым.
Там все беды мои — на минуту:
Минут, канут, развеются в дым.

Светит солнышком каждому детство,
Из немислимой дали маня.
...Только что ж ты ударился в бегство! —
Спросит совесть моя у меня.

В ключьях ночи, в обманчивом свете,
В каждой пяди пути твоего
За тебя это время в ответе,
Как в ответе и ты за него!

И назад мои кони примчатся
Сквозь минутных сомнений напасть.
Я пойму, что ни шага, ни часа
Не могу я у времени красть.

И рванется эфир к перепонкам
Трескотней пулеметных рулад.
Как я мог притворяться ребенком
В мире, где не хватает солдат!!

В ключьях ночи, в обманчивом свете,
В каждой пяди пути моего
За меня это время в ответе,
Как в ответе и я за него!

Я, пожалуй,
Не сделаю этим открытия,
Утверждая, что наша земля —
Общежитие,
И ее населяют,
Согласно законам,
Люди,
Звери,
Леса с их сиянием зеленым.
Крепнет сила людская,
Растет год от года,
Что ни день, умножается знаний запас.
И не мы теперь
Милостей ждем от природы,
А давно уже
Ждет их природа от нас.
Человек,
Богатырскою силой играючи,

Должен помнить
Про тихие жалобы заячьи,
И притом,
Своему зная цену величью,
Быть в ответе за каждую песенку
птичью!
А у нас...

Браконьера рука хулиганья
Протянулась к таежной поляне,
К реке, —
И могучие лоси,
Качая рогами,
Подгибают колени в предсмертной тоске.
И настанет минута —
Боюсь не на шутку! —
Когда люди в одной из последних засад
Окольцуют последнюю вольную утку
И последнего зайца сдадут в зоосад...

Есть женщины, похожие на пламя,
А есть — на робкий язычок свечи.
Они по свету ходят рядом с нами,
Случайным словом их не огорчи.

Прелестные, не отыскать прелестней,
Беспечны и внезапны, как стрижи,
И нежность их, и верность их — как песня,
Где все слова прозрачны и свежи.

В них что-то есть от скорого прощанья.
Как светлый дождь, сквозят они во мгле,
В себе невозмутимо воплощая
Все лучшее, что было на земле.

Изменчивы как небо, как погода...
И душу мне догадка обожгла,

Что в них украдкой смотрится природа,
Как в созданные ею зеркала.

Во многом пронительнее бога,
Доверчивей деревьев и детей.
Такие вот с ума сводили Блока
И уводили пленника в метель.

Я видел их не часто, этих женщин,
Далеких, как в магическом стекле.
Их, может быть, становится все меньше
На нашей слишком занятой земле.

Они мерцают капельками света,
Так непредусмотрительно хрупки...
...И страшно мне, что сильный ветер века
Вот-вот погасит эти огоньки.

Ш Е Ф

(Из цикла
„Рассказы
на шпионскую
тему“)

Деревенька была негусто рассыпана на холмах, живописно столпившихся вокруг совсем крошечного озера, и в тот вечер, когда пришли сюда наши машины, над каждым из них в удивительной северной тишине звучала песня — то ладная, из одних женских голосов, а то с мужскими, пьяненькая, под гармошку, а то уже и вовсе не песня, а так — оторвавшийся, отставший от нее один крик...

Вокруг наших зеленых ящиков с приборами неровным кружком стояли пацаны. Только что прошел дождь, и в телогрейках с родительского плеча, почти достававших до грязи, все они были похожи на горских пастухов в бурках. Юрка Нехорошев, который то и дело завистливо — о, в деревне дают! — показывал головой, остановился перед пацанами руки в боки.

— Чего, мужики, — праздник у вас какой?..

Мальчишки закивали дружно, хотя и не то, чтобы смело, а один негромко сказал:

— Ага, дядь, праздник... Шпиона у нас пымали!

Юрка присвистнул.

— И часто вы их тут?

— Не-а! — ответил тот же, смутясь. — Перьвого!..

Потом в деревню похромал наш повар Никола — купить петрушки.

— Давай по-быстро! — кричал ему в спину Юрка, который только что вызывался помочь Николе нести эту петрушку, да начальник не отпустил. — Одна нога здесь, другая — там! Жрать хочется!..

— Одна у меня всегда здесь, а другая

давно уже там!.. — издали уже отвечал Никола, оглядываясь. — В Белоруссии там!.. с сорок третьего!..

И по торопливому и радостному голосу его чувствовалось, что он напьется...

Напиваться Никола был мастер, какое-то лето на экспедиционной кухне рядом с котлами для первого и второго пристраивал он самогонный аппарат, и однажды, рассказывали, когда приехала комиссия из Академии наук, он, забегавшись, вместо чая вынес всем по стакану подкрашенного первача.

Злые языки поговаривали, что и ногу ему оторвало вовсе не на войне, а уже после нее, дома, когда Никола испытывал змеевик собственной конструкции, но это, конечно, была неправда.

Вернулся он, когда петрушка была уже ни к чему — пересоленный его суп и сладковатое пюре из мерзлой картошки мы съели и без нее.

Над деревней уже смолкали последние песни, они скатывались с холмов, ослабевающая, распадалась, переходили в недружный говор или затихали совсем, но, словно огонь на не остывшем еще пепелище, нет-нет, да и взвизывал где-нибудь голос, как будто полный решимости начать все сначала...

Один из таких голосов возник рядом с нами, это Никола в новом нашем лагере, близко над водою, пытался посеять любимые свои «огирочки», но яростно начатая им песня сникла вдруг и совсем замерла под удивленно вежливым взглядом начальника.

— Что это вы, Николай Федотыч?.. От кого другого, право, не от вас... Мы хотели, понимаете, ваш портрет на доску лучших...

Только потом, повзрослев, в полной мере оценил я гениальность воспитательного метода, которым пользовался наш довольно молодой тогда начальник Олег Михайлович Барсуков по отношению к пожилому, давно уже трудно-воспитуемому Николе.

Никогда он его не стыдил, не грозил увольнением — только похваливал.

Сообразит Никола такой рассольник, что и глаза бы на него не смотрели.

— Совсем, понял, обнаглел — начнет заводиться за столом Юрка Нехорошев. — Еще с той подливки живот не прошел, а он опять! Ты чего, поотравить нас хочешь?..

— Тебе отравишь! — быстро скажет Никола. — Тебе отравишь!..

А сам уже поглядывает на начальника.

— Понятно, Нехорошев, вы к «Метрополю» да к «Националу» привыкли, — заговорит Барсуков таким тоном, словно перед Юркой оправдывается. — Вам соловьиные языки в сметане подавай... крем-брюлле! Только вы забываете, что мы с вами в полевых условиях находимся... Николай Федотыч и так для нас разбивается — удивительно вкусный, между прочим, рассольник! — и протягивает повару пустую железную тарелку. — Не осталось там еще черпачка?..

Не знаю, как уж удавалось съедать ему еще и этот сверхплановый черпачок, но только после этого Никола последним ложился спать, поднимался наутро еще по-темному, и в обед мы получали что-нибудь такое, ну, совершенно потрясающее, пальчики оближешь!..

Сам Никола был чисто выбрит, и вид у него был очень торжественный, когда он стоял у двери на кухню, поглядывая на начальника!..

Тот помалкивал, безразлично ковыряя вилкой, поглядывал по сторонам будто бы рассеянно, и Никола отирал лоб, и лицо его прямо-таки поводило от ожидания.

— Добавки! — орал Юрка Нехорошев. — Отрависся! — не глядя на него, громко бросал Никола.

Юрка хватал черным ногтем по золотому зубу:

— Коля, нехай помру, дай еще хогь маненько!

Никола брал тарелку и небрежно — словно бросал — ставил ее потом уже с добавкой, так ни разу и не взглянув на Нехорошева, и говорил в сторону и как будто бы между прочим:

— Тебя и отравишь, дак только спаси-бо и скажут!..

Потом начальник вставал из-за стола, и Никола зачем-то начинал торопливо застегивать верхние пуговицы на белой своей куртке.

— Дорогой Николай Федотыч! — про-никновенно говорил Барсуков. — Разрешите от имени руководства Энской геофизической экспедиции объявить вам благодарность за ваш скромный самоотверженный труд!..

И с первыми словами Никола начинал растроганно моргать, а в конце — ей-богу — слезу смахивал!..

Дня два после этого он кормил нас более или менее сносно!..

Нет, что там ни говори, а начальник наш умел найти к Николе подход, и вот теперь, когда повар стоял перед ним, покачиваясь, и пучок увядшей петрушки на манер букетика был засунут в кармашек его поясного неопределенного цвета пиджака, Барсуков смотрел на него без осуждения, и только удивление и забота были в его серых глазах.

— ...хотели, понимаете, ваш портрет на доску лучших, а вы!.. Как же вы это завтра фотографироваться будете с памятным лицом?..

Однако на этот раз метод нашего начальника не сработал.

— Не буду я фотографироваться, не буду, — затормозил Никола. — Ухожу я от вас, Олег Михалыч!.. На расчет!

— Николай Федотыч — это куда же?

— Есть одна работа!.. Зовут. Тут, в деревне!..

Вокруг Николе и Барсукова стали собираться наши.

— И что же это за работа? — вежливо расспрашивал начальник.

— Шпионов ловить мы будем, понятно, — диверсантов? — Никола прикрыл глаза и помотал головой. — Тут их!..

— Как грибов?..

— Почему я знаю, сколько тут грибов?..

— Коля, возьми меня, пала, всех пере-ловим! — дурным голосом закричал Юрка.

— Не подойдет ваша кандидатура. Нехорошев, — серьезно рассудил Барсуков. — Их ведь надо живыми брать!..

— Три тыщи дают за одного, три тыщи, — снова затормозил Никола. — Вот ихний председатель сельсоветовский поймал, ему и дали!.. А он без руки. Чего, думаю, а я не смогу? Он говорит:

— Пойдем, Никола, пойдем!.. На расчет я теперь, на расчет!..

Его стали подначивать.

— А как же подъемные, Никола?..

— Ничего, мы подождем, — серьезно пообещал Барсуков. — Когда первого поймает — отдаст...

— А еще народ нужен?..

— А полевые идут?..

— А северные?

— Еще б не шли — это ведь не так себе, государственное дело.

— Можно узнать, — успокаивал Никола, — можно узнать.

— Что ж, Николай Федотыч, рад за вас, поздравляю — хорошо устроились! — сочувствовал Барсуков, и в голосе его слышалась неподдельная зависть. — Заявление сейчас напишете?.. Или завтра? Пожалуй, лучше завтра... А то и писать его не придется — я вот ночью подумаю, может быть, свернем пока эту нашу лавочку с афиметрами и всей экспедицией — за шпионами!..

— А что, а что? — соглашался Никола. — Пока шефа нет, пока шефа...

— Три тыщи как-никак, я подумаю, — обещал Барсуков, и лицо его оставалось непроницаемым.

Мы покатывались со смеху.

Мы еще не подозревали, чем обернется для нашей экспедиции вся эта история...

2 Я и тогда не знал всех подробностей, теперь и тем более не берусь объяснять, что же в точности произошло, но в ту пору рассказывали, будто председатель сельского Совета той деревеньки, где мы только что остановились, и в самом деле поймал шпиона, и ему и правда выдали три тысячи рублей вознаграждения...

А тут прошел слух, что был шпион этот не один, пятерых парашютистов сбросили, и тогда многие в деревне кинулись ловить остальных.

Когда еще будет картошка?.. Да и какой будет год? А тут сдал его — и на руки чистыми, без всяких тебе вычетов...

А теперь представьте себе нашу работу.

В районе месторождения железной руды разбрасывается петля из кабеля длиной в несколько километров. В нее идет ток от нашей передвижки. За петлей и внутри нее — профили...

И по ним идем мы, лаборанты, со своими мудреными приборами-афиметрами, которые испытываем уже третий сезон подряд.

Пришел ты на очередной пикет, установил треногу с черным ящиком, повесил рамку — металлическую трубку с кольцами из проводов по краям, надел наушники...

В наушниках то исчезает, то появляется писк, и ты возвращаешь верньеры, и в пикетажку записываешь показания — амплитуда и фаза, амплитуда и фаза... Цифры увеличиваются ровно, и вдруг — резкий выброс, и это оно — рудное тело, это тебе и нужно, значит, прибор работает, значит, скоро можно будет искать с его помощью железо — так же, как саперы ищут мины, ведь научный шеф нашей экспедиции Андрей Феофаныч — один из конструкторов первого миноискателя...

А теперь представьте себе, что по лесу осторожно пробирается группа добровольных охотников за шпионами, и вдруг все видят: перед какой-то черной штуковиной на треноге — ну, точно, передатчик! — замер нездешний человек в наушниках, вертит черные ручки — конечно, гад, что-то передает!..

— Руки вверх!

В первый раз я здорово испугался — даже боль какую-то, правда, почувствовал, словно тебя не очень сильно, да зато ловко ударили по спине...

Гляжу краем глаза: высокий старик с берданкой, прищурился, в меня целит, и седая борода топорщится на прикладе... парень с курковкой у живота... потом кто-то совсем молоденький с дубинкой в руках, и на плече у него — моток веревки.

Руки хочу поднять, а они не поднимаются, будто и не мои это руки, особенно правая, так и падает вниз, подрагивает, а сзади торопливо:

— Ишь, ишь, к карману, гад... Проверь, Митька, что у него в том кармане.

— Даст ешо!..

— Эй ты, понимаешь по-русски?.. Ферштей?.. А ну, выворачивай карманы!

Тут я из себя выдавил:

— Т-товарищи...

А за спиной удивились:

— Ишь, как по-русски чешет!..

— Их там будь здоров насобачивают...

— А морда все равно не наша...

Только тут до меня стало доходить.

— Извините, товарищи, вы, наверное...

— Ишь ты, нашел товарищей! — крикнул старик и повел ружьем на прибор. — Собирай свою аппаратуру и — за нами... Ферштей?..

Кое-как разобрал я рамку, взвалил

афиметр на плечо и медленно пошел в деревню — впереди конвоя...

В деревне скатилась с пригорка и бросилась нам под ноги резкая стайка пацанов, кто-то крикнул радостно и тоненько:

— Еще одного ведут!..

— Ишь ты, оказывается, уже не первый, — с сожалением сказали за моей спиной.

Первым оказался лаборант Женька Ялунин.

У сельсоветского крыльца стоял газик Барсукова — это Женька попросил вызвать нашего начальника, чтобы тот подтвердил, что Ялунин — свой...

Они уже, видно, отсмеялись на Женькин счет, принялись теперь за меня.

— Нет, кому верить? — говорил Барсуков, поглядывая на меня как на человека, с которым он недавно еще был хорошо знаком, но которого теперь надо вырвать из сердца. — Вроде бы скромный парень... С пролетарской биографией — свой в доску... Из старших рабочих в лаборанты его провел — пусть, думаю, немножко подзаработает. А его, оказывается, рубли давно уже не устраивают — ему подавай доллары... Или фунты стерлингов?...

— Он иенами брал! — вторил ему Ялунин. — Он — японский!..

— А как, интересно, вашему брату платят?.. С выработки? Или прогрессивка идет?..

— А ловко он втерся в доверие к шефу, а?

— Да-а! — подхватил начальник. — Теперь ясно, почему в прошлом году у нас не ладилось... Потихоньку портить приборы, показания путал...

Мы с Женькой хватались за животики. А в кабинете у председателя дым стоял коромыслом.

Здесь сидели на скамейках, на подоконниках и даже на полу, стояли посреди комнаты, пересмеивались и переругивались, и в углу уже на повышенных тонах спорили, крепко пахло самосадом и перекаленными семечками.

— Я тя выведу на чистую воду, я тя выведу! — грозил председателю пальцем, обещала толстая тетка. — Я тя на всю жизнь выведу на чистую воду!..

Председатель прихлопнул по столу краем ладони.

— Да тише ты!..

— Чаво тише!? — взвилась толстая тетка. — Ишь, сукин сын, согру подсаживает, да ишо кулаком!.. В носе у тя не кругло — на мене кулаком! Какой такой

по согру может быть диверсант? Где прячется?.. Тоже небось войну пережили — знам!

Председатель морщился, укорчиво качал головой.

— Кто те чо подсаживает, Шурка?..

И-и, дура, ты, баба, хоть и войну, говоришь, пережила... По мне хоть к такой матери иди да тама и ищи, только не торчи здесь в кабинете перед моими глазами... Я чо — заставляю? Я б должен наоборот вас не пускать — посевную, как пить, сорвете... Я отговаривать должен, да ладно, думаю, пусть... Инициатива снизу. А ты, Шурка? Ы-их!

— А я на своих сначала подумал, что сами они какие-нибудь диверсанты, — сказал я начальнику. — Испугался: отнимут еще афиметр...

— Неплохая мысль! — Барсуков кивнул на стоявшие у двери приборы, которые притащили сюда мы с Женькой. — Если бы эту машинку удалось подсунуть иностранной разведке, мы бы отбросили зарубежную науку лет на десять назад...

— Тише ты, Шурка, слышь вот, что люди говорят! — взмолился председатель и глянул на Барсукова понимающе. — Надо подумать, а?.. Можно им такую козу заделать... Вон у нас — народ!

Он повел рукой на скамейку, где покупывали приведшие нас мужики, и один из них, пожилой, бородатый, с черными цыганскими глазами, рассудительно подтвердил:

— Отчего нельзя?.. Все можно.

— Это я вот те — козу! — не унималась толстая Шурка. — Приедет только какое-никакое начальство, я те эту козу — сразу!.. Я те эту козу — на всю жизнь!..

На улице послышался возбужденный говор, потом он стал ближе, но приглушеннее, потому что разговаривали теперь, покрикивали уже в доме, за дверью, а затем дверь эта распахнулась так стремительно, словно ее хотели выбить, и в комнату влетел Юрка Нехорошев.

Сопровождавшие его вошли за ним неторопливо, даже степенно вошли, но по лицам их было видно, что это именно они сообщили Нехорошеву такое ускорение, в результате которого он смог остановиться только наткнувшись на председательский стол.

Рубаха на груди у Юрки была разодрана, под глазом уже зацвела, наливался багровым большой синяк.

— Сонного вязали, — объяснил длинноволосый дедок в очках. — Ежели иначе, может, и не дался бы — здорovuющий черт.

Юрка взглядом полоумного скользил по лицам, увидел вдруг Барсукова, и глаза его радостно зажглись.

— Олег Михалыч, пала!..

— Тоже ваш? — спросил председатель.

У Юркиных конвоиров вытянулись лица. Но Барсуков в недоумении пожал плечами.

— Первый раз вижу.

— Ага! — сказал председатель и потер ладонь о полу кителя, где-то на животе сбоку.

— Олег Михалыч, пала... Да ты что, начальник! — запричитал Юрка отчаянно. — Чернуху такую кидает, понял! Ну, Нехорошев я! Юрка?

— Нехорошев? — повторил Барсуков, как будто начиная что-то припоминать. — Юрий, говорите?

— А то кто ж, пала?

Голос у Юрки звучал сейчас тонко и жалобно, Юрка обижено моргал, кривил губы, и было в лице у него еще что-то такое, действительно делавшее его на самого себя не похожим.

— Есть у нас такой, — припоминал Барсуков. — Только наш Нехорошев — орел! Синяков у него никогда, он сам синяк кому хочешь... И зуб у него золотой... фикса.

— Да как выбили, пала! Вот этот дедок! И поискать не дал... — Юрка начал двигаться на длинноволосого, картинно хватая его за грудки. — Я тебя, што, пала? Што, мама твоя нехорошая...

— Наш, — сказал Барсуков. — Теперь вижу: наш.

Женька Ялунин отвел Юрку от дедка, и тот поправил очки, прокашлялся.

— Ежели товарищ и свой, ежели и научный сотрудник, все равно ему суток десять дать не мешат... Мы, можно сказать, при исполнении долга. А он! За всю свою долгую жизнь столько матюков не слышал и надеюсь больше не приведет господь. Тыфу ты!..

— Шестьсот рублей, пала, отвалил — отзывался Юрка. — 98-я проба. Как я теперь найду?

— Теперь единственная надежда на наши афиметры, — сказал Барсуков. — Доведем их до ума и попробуем поискать твой зуб... Так что кончай бездельничать и спать на профиле...

— Он золото не будет брать, пала — только железо, — сказал Юрка. — Што, я не знаю?

— Ты подаешь надежды, — сказал Барсуков. — Почему бы тебе всерьез не заняться наукой?.. Тем более материаль-

ный стимул у тебя уже есть — зуб надо найти...

Мы с Женькой снова схватились за животы.

3 Когда меня во второй раз окружили на профиле и потребовали поднять руки, я снимал рамку с афиметра, давясь от смеха.

И в деревню шел охотно, предвкушая новые шуточки, и наш начальник, которому волей-неволей приходилось теперь дежурить в сельсовете, вырывая своих, и в самом деле встретил меня радостно — неожиданная его обаятельность поначалу ему понравилась...

В третий раз я уже попытался скандалить: не хочу, мол, нести прибор и точка, а если кому надо — пожалуйста, пусть сам тащит афиметр, а мне эта история уже надоела...

Ладно, сказал один из моих конвоиров, понесем по очереди. Подошел к афиметру и уже приподнял его, как вдруг в спину ему сказали негромко:

— Ка-а-к трахнет сейчас, так и кусочков не соберешь...

— Ишь ты! — удивился первоначальный мой доброжелатель, живо отпрянув от афиметра. — А ну-ка давай сам!

И опять прибор понес я. А Барсуков сказал, что вообще-то уже хватит, не смешно, пора и делом заняться...

— Товарищи! Дорогие! — говорил я через несколько часов, прижимая руки к груди. — Ну какой же я шпион, гражданин? Да разве шпионы ходят с такими громадными приборами? Тогда бы их всех выловили буквально в один день. Разве не так?..

— Вот мы и лавим! — неумолимо отвечали мои оппоненты.

Я призывал на помощь все свое красноречие.

— Нет, ну правда, товарищи! Был бы я шпион, тогда бы аппарат у меня был во-от такусенький... В пуговку на прорешке был бы вмонтирован. А этот?

— Ну пуговки на прорешке мы тебе в конторе посмотрим!

— Га-га, правильно!

— Товарищи, вы же мне мешаете работать! У нас в экспедиции...

— Это мы ему мешаем, на своей-то земле!

— Вот гад, по-русски чешет!

А Барсуков сказал:

— По-моему, ты испытываешь мое терпение, а?

А что я мог сделать?

Мне не везло, как никому другому.

Других наших лаборантов уже начали узнавать, по-дружески справлялись, не выдать ли тут где-нибудь поблизости людей с подозрительной внешностью, других, кто посolidней, расспрашивали уже о работе, о здоровье, о письмах из дома и поили квасом из фляжек или туесков, а меня никто не хотел принимать за своего, меня каждый раз упорно снимали с профиля и препроваживали в деревню...

Сначала я думал, что виной тому — синяя, порядком уже выгоревшая рубаша с погончиками на латунных пуговках и с желтой эмблемой Союза свободной немецкой молодежи на рукаве — мы, пришедшие в университет в традиционных вельветках на молнии, с удовольствием потом носили такие рубаша, они были для нас как бы знаком не только нашего студенческого, но и интернационального братства.

С великим сожалением свернул я однажды вечером и положил в рюкзак такую рубашу...

Однако ничего не изменилось ни после этого, ни после того, как я, повздыхав, расстался с темными очками и с гордостью моей — кепочкой черного бархата, со крученным синим шнурком и лакированным козырьком — такие носят шахтеры в Силезии — с кепочкой, которую подарил мне поляк Здишек, тоже мой однокурсник...

Потом-то уж я понял, что я просто такой невезучий, что ли, есть у меня такая черта — привлекать внимание... Если на остановке толпа, то, давно ли не было автобуса, спросят обязательно у меня, я, а никто другой, должен объяснять на улице, как куда пройти или проехать, и что здесь происходит, если что-то такое произошло, должен объяснять тоже я, и дать недостающие пятьдесят копеек на билет небритому человеку, который отсидел двадцать лет и которого ждут — не дождутся дома малые, понимаете, дети — опять я...

Может быть, дело было именно в этом, может быть, в чем-то другом, до чего я так и не додумался, но сперва меня забирали чаще, чем других, а потом и вообще стали забирать только меня.

Не знаю уж, по какому принципу формировались маленькие добровольческие отряды, может быть, каждый день заново, но только иногда среди тех, кто окружал тебя в очередной раз, попадались уже знакомые, и ты обращался к ним с

надеждой, что они выручат, что они-то все сейчас объяснят. Но знакомые эти почему-то всегда отмалчивались, а когда ты сам начинал взывать к ним, глухо говорили: я, мол, что?.. Я-то, может быть, и знаю, да остальные как?

И опять — складывай прибор, взваливай его на плечо...

Раза три или четыре забирали меня в присутствии того дедка, который вместе с другими связывал Юрку Нехорошева, и в том, что этот дедок и в самом деле очень вежливый, я имел случай убедиться, потому что уже на второй раз он ласково так поздоровался, приподняв шляпу, а на третий вел себя и совсем по-дружески, но на вопрос — почему же это опять меня забирают — только пожимал плечами.

Теперь уж я думаю вот что: наверно, им было очень скучно ходить по лесу, так никого и не находя, и забирали нас еще и затем, чтобы как-то себя подбодрить: ничего, мол, вот так же поведем, если попадется настоящий, с заграничным клеймом.

То с одной, то с другой группкой ходил совершенно запившийся наш Никола, только он обычно отставал, хромал позади, и догонял своих новых друзей уже только у сельсоветовского крылечка.

— Если бы вы, Николай Федотыч, согласились опознавать на профиле наших лаборантов, — сказал ему однажды Барсуков. — Забирают его, а вы: наш, мол. Я бы решился принять вас на полставки... По совместительству.

— Я и так буду говорить, — согласился Никола. — Я и так...

Однако в тот же день группка, которой командовал он сам, привела с поля Юрку Нехорошева. Тот громко кричал по дороге, что он покващается с Николой, выдернув ему и вторую ногу, а на утро такая же, что и Нехорошева, участь, постигла и меня.

— Ну ты чего, Коля? — пытался заговорить я с ним по дороге. — Ты ж меня, славу богу, третий сезон, а?..

— А мне что знакомый шпион, что не знакомый — нет разницы, — бормотал Никола. — Нет разницы — я повожат не люблю!

— Да ты чего, Коль?

— Ладно, ладно, иди, — ворчал бывший наш повар. Но, проявляя великодушие, предлагал. — Хошь, прибор понесу, а?

— А вдруг он заманиванный? — засомневался кто-то из деревенских.

— Афиметр-то? — удивился Никола. —

Да ну! Кто бы его к черту минировал? Кому он нужен?

На этот раз Барсуков смотрел уже как будто не на меня, а сквозь меня. Не смотрел он и на Николу. Запас юмора у него, видно, уже истощился, и голос был усталый и мирный, когда он, вздохнув, произнес:

— Ты знаешь, о чем я думаю?

Я вежливо осведомился: о чем?

— По какой бы статье тебя уволить, чтоб тихо... Как-то так — чтобы по душам...

После этого я решил, что стану работать на профиле в неурочное время, например, поздней ночью...

Знаете ли вы эти северные белые ночи?

День, день и день, потом неземные почти мгновенные полусумерки, таинственная тишина над бескрайними лесами, доходящая в эти часы до такой пронзительности, что неизвестно отчего забьется вдруг сердце, и потом серая темь, не слышная, как летучая мышь, и короткая, как волшебное поманивание рукой...

Как хороша была мирно спавшая на холмах просвеченная белым наша деревенька, замершая рябь озера внизу и застывшие над ней светлые облака, и удивительные заревые краски, бесстыдно красивые глубокой ночью...

Этой порой ребята наши бросали волейбол и тихонько покуривали перед сном, молча поглядывая на запад...

Этой порой я и шел на профиль. Не потому, что я боялся, что Барсуков уволит, вовсе нет. На то были у меня свои, как говорится, причины...

Одна из них уместилась в шести словах, отпечатанных телеграфным аппаратом: «Мой юный друг работайте прецизионно надеюсь вас Волостнов».

4 Так вот, пора рассказать о Волостнове.

Познакомились мы с ним в мой первый сезон, на Урале, дня через два после моего приезда.

Накануне поздно вечером старший рабочий геофизической экспедиции Академии наук Юрий Нехорошев, выпив сэкономленного от протирания приборов спирту, пришел к начальнику Барсукову и, хватанув ногтем о край золотого зуба, произнес яркую речь, из которой следовало, что если он, Нехорошев, еще и завтра пойдет по профилю вместе с Черной Бородой — так за глаза называли шефа, — то обратно в наш лагерь, уви,

никто из них не вернется. Шеф Черная Борода на веки вечные останется лежать в трясине со стальным мессером в боку, а старший рабочий Юрий Нехорошев пешком добредет до трассы, поднимет руку и поедет в Челябинск, чтобы добровольно отдать себя в руки правосудия.

— Я, пала, на Матросской Тишине верухушку держу, а он мне — вы, вы! Юрий Егорыч!.. — захлебывался Юрка от обиды. — Нет, приказать, что — так он просит, понял, гад, и кланяется... У, пала!

Начальник экспедиции Олег Михайлович Барсуков давно уже не держал верухушку нигде, но с беспечной своей должностью справлялся великолепно. Он вышел из-за стола, протопал коваными сапогами с пряжками на боку по железному полу полевого вагончика и не очень осторожно несколько раз заставил качнуться старшего рабочего Нехорошева с носка на пятку. После этого старший рабочий Нехорошев, не вынесший интеллигентного обращения Волостнова, заявил, что ладно, пусть шеф Черная Борода еще поживет, а пусть умрет он, Юрка, пусть он медленно умрет как личность от употребления спиртного, которое у него припасено на этот случай.

Это было уже больше похоже на правду, и начальник открыл дверь полевого вагончика спиной старшего рабочего Нехорошова, а когда проем освободился, кликнул меня и сказал, что завтра вместе с Андреем Феофаньчем Волостновым, кандидатом наук и лауреатом Государственной премии, на профиль пойду я...

Шефа до того я видел только мельком.

На утро же он предстал передо мной в нашей брезентовой столовой, когда все спокойноенько допивали чай и спокойно покуривали, откашлялся, сморкнулся очень странно в платок, так, словно продавали тромбон, и тихоньким, но несламделишно звонким голосом спросил:

— Ну-с, мой юный друг?

Все сидевшие за столом посмотрели на меня жалеючи.

Я отставил кружку с чаем и перелез через плаху, служившую нам скамейкой.

— В порядке любезности, — сказал шеф. — Оставьте вашу курточку в лагере. Нам она будет мешать. Только, пожалуйста, сделайте это как можно быстрее...

Из брючного кармана на животе шеф вытащил секундомер.

— Спасибо, — сказал он, когда я вернулся. — Вы управились за одну минуту сорок восемь секунд...

В тот день мы с шефом начали работать.

Боже мой, что это была за работа!

— Тридцать восемь!—выкрикивал шеф неестественно звонким своим голосом. — Семьдесят два!

Я торопливо записывал показания афиметра в пикетажку, а шеф уже снимал рамку — и с этой рамкой в одной руке и с секундомером в другой — в наушниках стремительно бежал к следующему пикету, и тяжелые его сапоги глухо стучали по высохшим кочкам, и черная полевая сумка прыгала у шефа на синих галифе...

С афиметром на плече я догонял его в тот момент, когда шеф уже стоял, слегка наклонившись, держа рамку параллельно земле — на том уровне, на каком она крепилась к прибору.

— Мы управились, мой юный друг, за пятьдесят четыре секунды, — говорил он потом быстро. — В порядке любезности: попробуем сократить до пятидесяти секунд ровно...

Не знаю, может быть, шеф считал, что когда мы бежим, наука тоже не стоит на месте, только в следующий раз мы неслись стремительнее, потом еще быстрее и еще...

А через каждые полчаса, ни больше — ни меньше, шеф становился ко мне лицом, выгибал перед собой руки и звонко говорил:

— В порядке любезности, мой юный друг... Делаем: вдо-ох! Делаем: вы-ы-дох!..

И я, немного опаздывая, вслед за шефом повторял комплекс производственной гимнастики.

Он был невысокий, плотный мужчина пятидесяти пяти лет.

Старая его велюровая шляпа, опущенные поля которой подпирались торчащими во все стороны клочками седых волос, казалась надетой в свою очередь на жесткую какую-то шапку. Громадный лоб, подчеркнутый мощными дугами косматых и тоже седых бровей и под ними за выпуклыми линзами очков — сверлящие марсианские глаза, до того голубые, словно шеф родился только вчера. И щеки у него были совершенно розовые и без единой морщины, как будто он родился только вчера, но от них стремительно бросалась шефу на грудь густоющая черная борода, и странно было видеть эти по-детски голубые глаза и розовые щеки рядом с таким атрибутом мужской зрелости, и странно было слы-

шать его не по возрасту звонкий голос...

Борода у шефа была тугая и жесткая, и когда он почему-либо задирал голову, она пластом поднималась вверх, открывая голый клин на груди, шелковая с отстегнутым воротником рубашка в полоску, казалось, вот-вот должна была затрещать на мощных его плечах. Рукава ее были закатаны у самых предплечий и открытые руки шефа, толстые, покрытые волосом, говорили о незаурядной силе...

Сначала два или три вечера подряд он объяснял мне устройство афиметра, заявив, что тогда, когда я буду знать его, у меня усилится чувство ответственности. Потом выдал мне новенькую пикетажку и предложил как-нибудь вечером попробовать поработать самостоятельно.

Теперь поздно вечером я по пяти минут стоял в наушниках на каждом пикете, перепроверял показания по несколько раз, боясь ошибиться, а потом наушники брал шеф, тоже стоял в них подолгу, сравнивал цифры и выкрикивал тоненько и звонко любимое свое слово:

— Прецизионно! — он закрывал глаза и наклонял голову, ломая о грудь жесткую свою бороду, крепко задумываясь, а потом, как будто решив, как будто покончив, наконец, с мучительной душевной борьбой, поднимал голову, стремительно блеснув при этом очками. — Но можно еще прецизионнее!..

Через несколько дней меня перевели в лаборанты, но я так и остался работать в паре с шефом. Теперь мы бегали друг за другом или на параллельных профилях...

И тут выяснилось, что мне необходимо научиться свистеть.

Вечером на ящике из-под тушенки сидел я около своей палатки, смотрел в круглое автомобильное зеркальце, которое по приказу шефа принес мне наш главный механик Селезнев, складывал губы так, как учил меня Волостнов, и противно шипел...

Мимо только что прошел газик.

Наши поехали на рыбалку, и Юрка Нехорошев по пояс высунулся из кабины и дурным голосом крикнул:

— Вкалывай прецизионно, кентяра!..

Под старой березой посреди лагеря в складном брезентовом кресле сидел с пикеташками на коленях и с карандашом в руке шеф.

Иногда он взглядывал на меня, морщился, потом подходил ко мне и вежливо говорил:

— Это делается так, мой юный друг, посмотрите-ка еще раз... Будьте внимательны.

Он слегка кривился, полные его губы каким-то образом совершенно исчезали в бороде, и вид у шефа становился совершенно разбойничий. И свистел шеф — ну точно Соловей-Разбойник.

А я вздыхал.

— Не получается, Андрей Феофаных... Может быть, все-таки в два пальца?

— Ни в коем случае! Руки у вас постоянно должны быть заняты делом...

— У Нехорошева это здорово получается — свистеть...

— Да, это единственно, что у него выходит действительно здорово, — соглашался шеф. — Я скажу начальнику, чтобы он приказал Нехорошеву с вами заниматься...

Поздним вечером наши возвращались с рыбалки...

Лаборанты — все это были ребята из института — остановились у моей палатки, длинный Женька Ялунин подвигал своими моржовыми усами, спросил:

— Мы забыли, какую вы там с шефом разработали систему сигнализации?

Я начал терпеливо объяснять.

— Короткий свист один раз — повторить измерение. Два раза — идите ко мне. Три — следуйте дальше...

— И все?

— А что еще?

— Мы тут разработали сигнал, без которого в ближайшие дни ты просто не сможешь обойтись...

— Это какой?

— Как там у вас? Два раза — ко мне, три — идите дальше. Надо еще: четыре — идите к такой маменьке...

И все лаборанты заржали одновременно и одинаково радостно. Видно, это была общая шутка, придумали на озере...

Отношения наши с Волостновым стали теперь поводом для насмешек, о них рассказывали анекдоты, однако прогноз Женьки Ялунина и всех наших лаборантов — в отношении сигнала номер четыре — так и не оправдался до конца поля.

Шеф был мною доволен. А я этим только гордился.

За день до нашего отъезда мне пришлось выполнить довольно трудное поручение шефа...

Накануне несколько дней подряд шли дожди. Мы отсиживались по палаткам, но у нас, у лаборантов и рабочих, оставалась еще одна не скучная работенка — убрать самую большую петлю...

А настроение уже было чемоданное, везде уже потихоньку праздновали окончание сезона...

Как только дожди прекратились, Барсуков отправил нас на профили, но то, что мы там увидели, отбило у нас всякую охоту к премиальным. Петля эта в нескольких местах пересекала пашню, а перед этим здесь прошел трактор с бороной, прошел несколько раз, и длинный кабель был теперь настолько перепутан и стянут такими узлами, что растащить его и смотать в бухты не оставалось вообще никакой надежды...

Ребята наши отказались распутывать, а пришедший на профиль Барсуков долго стоял, хмуро поглядывал на нас, потом фелел позвать главного инженера и кладовщика.

Кабель решили списать.

Не знаю, как уж оно так получилось, вероятно, шеф был против этого, а Барсуков спросил: а кто же, мол, извините, будет работать? — не знаю, как уж оно там, только вечером в палатку ко мне забрался шеф и, глядя на меня в упор по-детски голубыми своими глазами, увеличенными выпуклыми линзами очков, тоненько спросил:

— Не могли бы вы в порядке любезности... распутать этот кабель... э-э... лучший его поberi?

Рано утром я вышел на профили.

Не буду рассказывать, как мне в тот день работалось. Не знаю, как бы я обошелся с врагом, а другу я, и правда, такого не пожелаю...

В лагерь я вернулся весь перемазанный, еле тащил сапоги с пудами налипшей грязи, ноги мои подрагивали, и тяжело было нести свинцовые руки, и больно сводило поясницу.

— В порядке любезности... пройдите за мной, — сказал, увидев меня, шеф.

В крошечном магазинчике, где я несколько дней назад купил чудом каким-то попавшие сюда американские солдатские ботинки — те еще, от ленд-лиза, — он попросил четвертинку водки и двести граммов глазированных пряников.

Пятьдесят граммов налил шеф себе и граненый стакан — мне.

— Ваше здоровье! — провозгласил он.

Кинул бороду, выпивая залпом, зажмурился и открыл глаза, придвинулся, внимательно наблюдая, как выпиваю я. Сейчас он тоже был похож на экспериментатора, и мне ей-богу показалось странным, что в руках у шефа на этот раз не было секундомера...

В ушах у меня тихой музыкой плавал его мальчишеский голос:

— Трудолюбие делает вас одним из самых необходимейших участников нашего отряда... Вы знаете, мой юный друг, что впереди у нас международный геофизический год? Не могли бы вы в порядке любезности согласиться стать моим лаборантом и попутчиком в Канаде?..

5 Шеф, заложив руки за спину, прошелся из угла в угол по просторному классу деревенской школы, служившему теперь Барсукову кабинетом, потом, стоя к нам спиной, приподнял и опустил плечи, резко повернулся и потряс головой так энергично, что жесткая борода его заскребла, зашуршала по накрахмаленной рубашке...

— Н-ничего не понимаю! — звонко и тоненько сказал шеф. Достал из маленького карманчика серебряную луковичу и щелкнул крышечкой. — Мы говорим уже восемь минут и сорок... гм-гм, пусть ровно пятьдесят секунд, а я так ничего и не понимаю!

Всего два часа назад вернулся он из Ленинграда, с завода, на котором делают наши афиметры, вернулся вместе с представителем завода. И шефу, как никогда, может быть, нужны последние данные работы на профиле, и он вызывает лучшего лаборанта, свою надежду, а тут...

— В чем, объясните, дело?

Я, заикаясь, снова стал рассказывать, как мне не везет, может быть, все дело в том, что я сначала ходил в польской кепке или немецкой рубашке?

Шеф нетерпеливо остановил меня, поднял ладонь, наклонился поближе и очень твердо сказал:

— В порядке любезности! Зачем вы мне морочите голову ненужными подробностями? Скажите мне главное: вы — не шпион?

Голубые, увеличенные очками глаза шефа глядели на меня изучающе — по моему, шеф не удивился бы, если бы я ответил вдруг утвердительно.

Я приложил к груди обе руки:

— Андрей Феофаныч!

— Я вам верю! — значительно сказал шеф. И обернулся к Барсукову. — Так в чем, я вас спрашиваю, дело?

— Вы верите, но они-то — нет! — сказал Барсуков. — Это как в анекдоте о сумасшедшем...

— Н-неостроумно, — укорил шеф. —

Знаю. Слышал... Нам надо работать, а не анекдоты рассказывать...

Шеф наклонился ко мне:

— У вас есть маленькая фотокарточка? Два на три... три на четыре?

— По-моему, да.

— Не могли бы в порядке любезности принести ее?..

Вернувшись, я увидел шефа за пишущей машинкой.

В два пальца он довольно бойко стучал по клавишам, а позади него, кусая губы, с чертом в серых глазах стоял Барсуков.

— В порядке любезности — подайте ваше фото...

Он аккуратно подрезал краешки перочинным ножом и очень старательно стал намазывать клеем оборотную сторону. И это шеф делал тоже очень тщательно, как бы он сам сказал — прецизионно...

От усердия он высунул кончик языка, и странно, и трогательно было видеть его среди густоющей, и черной, как разбойничья ночь, шефовой бороды.

Потом он протянул листок Барсукову.

Тот расписался внизу, подышал на печать и ловко придавил ее ладошкой.

— В порядке любезности, держите эту бумагу при себе, — попросил шеф, слегка наклонившись.

Я пробежал глазами листок.

«Справка, — было напечатано крупно. И дальше обычным шрифтом. — Дана настоящая в том, что такой-то и такой-то действительно не является шпионом. Начальник энской геофизической экспедиции АН СССР О. Барсуков». Подпись. Печать.

— Работайте прецизионно! — очень серьезно попросил шеф.

Барсуков все покусывал губы.

Я рассмеялся уже на улице...

6 Теперь-то вы поймете, почему на следующее утро, стоя на профиле около своего афиметра, я то и дело оглядывался, ожидая, когда в очередной раз затрепчат кусты, высунутся из них дула двух-трех дробовиков и мужской голос скажет не очень уверенно:

— Руки энто... вверх!

Но никто не подкрадывался ко мне, никто меня не окружал, и я прямо-таки истомился...

Наконец, уже почти в полдень небольшая группка с охотничьими ружьями показалась на полянке невдалеке, и я еще раз потрогал справку, которая лежала у меня в нагрудном кармане вновь

надетой немецкой рубахи с погончиками и потер ладони: сейчас, вот, сейчас...

Уж не знаю почему, но сердце у меня отчаянно билось.

Вот они посмотрели в мою сторону... Вроде приостановились... Нет, идут мимо.

— Эй! — закричал я и замахал рукой! — Сюда!

Те, с дробовиками, неохотно пошли ко мне:

— Чего ж вы? — крикнул я еще издали.

— Чо чего?

— Добрый день, — сказал я, потому что увидел знакомых. — Чего ж вы меня не забираете?

— Чо не забираем?

Откуда-то из-за кустов, прихрамывая, вышел догонявший их Никола.

— Это нащ, нащ, — сказал торопливо.

— Да глаза пока есть, — лениво ответил кто-то из этих.

— Ну нет, так не пойдет, — сказал я. — Мало ли чего? Может, я и в самом деле шпион.

Один устало махнул рукой.

— Да какой там с тебе шпион... Ходишь тут ходишь... ноги уже отбили.

— А может, заберем? — лениво спросил другой.

Маленький ладный дедок с аккуратным как будто точеным лбом и с седыми прядками на нем и круглыми глазами поскреб подбородок и задумчиво сказал, как будто вслух размышляя:

— Отчего не забрать?.. Можно! Заодно уж.

— Вот фигу! — сказал я. — Пожалуйста!

И протянул деду справку.

Он смотрел ее долго-долго, потом передал другому, а на меня глянул с уважением, пригладил на гладком лбу жиденькие полуседые волосы и учтиво сказал:

— Конечно, не будем мешать. Наука — разве не понимаем?.. Нельзя поинтересоваться, что за машинку такую испытываете?

— Да ничего не испытываем, — сказал Никола. — Недра ищем!

— Каки-таки недра? — спросил другой, невзрачный человек с большим красным носом. — Эт чо за чудо?

— Да ничо, — сказал Никола. — Просто это что в земле и под землей...

— Не будем мешать, — сказал дедок, поклонившись слегка — на манер нашего шефа.

— Идите, я тута буду, — сказал Никола своим попутчикам. — Побуду тута...

Он сел, привалившись спиной к трухлявому пеньку и вытянул ноги — протез при этом Никола умащивал на траве почему-то гораздо дольше...

Я сложил справку, вздохнул и надел наушники.

— Эй, — услышал я потом сквозь резиновые прокладки и обернулся. — Ну брось на минуту, брось на минуту, — заговорил Никола. — Посиди с человеком, посиди...

Я постелил на траву брезентовую куртку и прилег рядом.

День был теплый, солнечный.

— Вернуся я, наверно, в экспедицию, — сказал Никола. — Вернуся. Чего тут зря ноги бить? А там меня уважают. Ведь уважают?

— Что ты, Коля, какой разговор! — сказал я и про себя добавил: «Фотографию обещали повесить на доску лучших...».

Сказать — не сказать?

А Никола посмотрел на меня печально и как будто испытующе, проговорил медленно и осторожно:

— Фотографию вот... на доску... Где самолучшие.

— Ну да, — обрадовался я, — фотографию... Я сам слышал.

— А чего мне здесь?

— Конечно, — вслед за ним рассудил и я. — Чего тут?

— А я вот совсем и не потому, что деньги большие, — негромко проговорил Никола, глядя на меня почему-то очень печально. — Из экспедиции ушел... Не потому.

Сидел он, склонив голову набок, тихо-нечко как-то сидел, как будто к самому себе прислушиваясь.

— Не потому что деньги, — повторил Никола. — Ну что деньги? Что?.. Есть у меня дома сберкнижка. Есть. И кассирша знакомая: когда выпивший, ни за что не выдаст... Это говорит, трудовой вклад, Николай Федотыч! Бог с ними, деньгами! А вот чего-то вот такого хочется. — Никола сунул руку запазуху, погладил под рубахой. — Крутит тута и крутит... Чего вот хочется, а?

Как будто в бутылку дунула, закричала в ближних кустах кукушка: фу-гу... фу-гу...

— Спросить, сколько еще проживу? — проговорил Никола. — Мало скажет — еще обидится... Ну ее к богу!

Над лесом, синью уходящим к горизонту, над белыми облаками очень глухо, сердито пророкотал гром...

Владимир Власов

Ю П

РАССКАЗ

Он был старым политическим заключенным. Одним из немногих номеров десятой тысячи оставшихся в живых до апреля 1945 года. Говорили, что он — коммунист, но спрашивать об этом не полагалось.

Лагерная этика запрещает подобные вопросы, оставляя за каждым право рассказывать о себе все, что он найдет нужным. Эти азы лагерных взаимоотношений усваиваются еще в карантине.

Поэтому, попав в сорок третьем году на команду «лесной автопарк», где руководил распределением рабочей силы Юп, я и не думал уточнять биографические данные своего начальника. Я только радовался, что не назначен под начало к бандиту, как называли уголовников всех мастей.

Каково же было мое удивление, когда подойдя вместе с эсэсовцем в звании командофюрера к выстроенным в одну линию новичкам, Юп для первого знакомства разразился такой свирепой руганью на всех европейских языках сразу, что мы буквально разинули рты.

Немецкие ругательства перемежались итальянскими, французскими и испанскими. Между ними проскальзывали польские и сербские. Весь этот винегрет завершился отборным русским матом. Нелепейшие сочетания слов были смешны, но нам было не до смеха.

Особое внимание в этой речи было уделено мне — единственному русскому — самому худому, высокому и нескладному среди новичков. Заканчивая, под веселый смех командофюрера, свое великолепное выступление, Юп подбежал ко мне, схватил сильной рукой ворот моего полосатого халата и, энергично подталкивая коленом пониже спины, погнал меня в какой-то сарай, крича во все горло:

— Ты автослесарь? Ты механик?.. Ты полосатый глист в обмотках? Ты горшок жидкого дерьма! Сейчас я научу тебя работать, сын паука и лягушки!

От последнего мощного толчка в спину я, как на крыльях, влетел в открытые двери сарая.

Это был большой гараж легковых трофейных автомашин, собранных со всей Европы. Раньше мне никогда не приходилось их видеть, кроме как в кино.

Оглядываясь по сторонам, я заметил, что Юп уже вошел в гараж и, повернувшись ко мне спиной, внимательно смотрит на уходящего в контору эсэсовца.

Как только за ним закрылась дверь, Юп тяжело вздохнул и присел на подножку ближайшей машины. Усталым движением руки вытер вспотевшее лицо. Отдыхая, сидел несколько минут с закрытыми глазами, а когда открыл их, я был удивлен вторично: глаза светились искренним дружелюбием. Они то хитро прищуривались, утопая в густых морщинах смуглого лица, то широко раскрывались, искрясь неподдельным смехом.

Юп указал на ступеньку стоявшей рядом машины:

— Садись, сынок. За день настоишься. Какой писарь направил тебя?

Недоверчиво косясь на его могучие рабочие руки и втайне ожидая новых туманов, я осторожно присел напротив. Торопливо ответил:

— Норвег.

Он удовлетворенно кивнул головой, буд-то заранее был уверен в таком ответе. Глядя мимо меня, в широко открытые двери, спросил:

— Сколько лет?

— Девятнадцать.

— Солдат?

— Был солдат.

— И, конечно, автослесарь?

Его глаза снова смеялись.

Я смущенно промывал нечто утверждающее.

— Открой капот мотора у той машины, что стоит около входа.

Голубая гоночная машина с изящными

плавными обводами двигателя и кабины напоминали по совершенству форм каплю воды. О том, как открывается капот этой красавицы я мог только догадываться. Растерянно переступая с ноги на ногу, я топтался около лакированного чуда и просительно посмотрел на Юпа, приготовившись получить добрую оплеуху.

Он молча открыл дверцу, нажал рычажок на шитке с приборами — капот открылся бесшумно.

Затем подошел ближе, усмехнулся:

— Ну, солдат, раз уж тебя записали автослесарем, будешь работать здесь. Бери метлу и разметай по полу воду, чтобы весь бетон был влажный. Здесь, — он ткнул пальцем в огромную лужу воды, собравшейся в углублении пола перед воротами, — будешь мести только в том случае, если увидишь эсэсовцев. Для этого надо работать глазами и работать весь день без перерыва. Если зазевашься, получишь двадцать пять плетей для начала.

Юп вышел и легким, быстрым шагом, почти бегом направился к конторе.

Из широких ворот открывался отличный обзор почти всей территории команды. Меньше можно было увидеть только в том случае, если я стану вблизи порога в лужу воды. Учитывая это обстоятельство, я благоразумно передвинулся дальше в тень и, опираясь на метлу, как на костыль, задумался о своем положении: писарь-норвег, говоривший по-русски, узнав по сопроводительным документам, что за дерзкий побег из лагеря военнопленных меня осудили на бессрочную каторгу и что у меня нет никакой специальности, решительно вписал в лагерную карточку: «автослесарь».

Потом шепнул:

— Это есть лютча команда. После тюрьмы ты слабый. На карьер — смерть, кирпич завод — смерть. Там командуй бандитен.

«Чем же мой новый начальник отличается от бандитов?» — уныло размышлял я, не спуская глаз с подходов к гаражу. — Ругается он похлеще любого уголовника, дерется тоже не хуже».

В это время открылась дверь конторы и на крыльце показался командофюрер. Я мгновенно перехватил метлу половчее и так помел воду у порога, что в брызгах, вылетавших на улицу засияла радуга. Эсэсовец прошел, не обращая внимания на мою деятельность.

Подсохший к обеду бетонный пол я наскоро полил водой из резинового шланга и снова замер с метлой в руках вблизи ворот, памятуя о том, что надо «работать глазами».

Среди многочисленных гаражей и мастерских сновали по дорожкам, как муравьи, разительно похожие друг на друга люди в полосатой одежде. Казалось, что каждый занят очень важным делом и не может остановиться даже на секунду.

Двадцать высоких арестантов-мумий во главе с бригадиром вывели из гаража газельный грузовик и, упираясь изо всех сил, покатили его в ремонтную мастерскую. На небольшом, почти незаметном подъеме машина остановилась. Похожие раскраской на африканских зебр мумии забегали вокруг нее, закричали хором что-то непонятное — машина ни с места. Они столкнули грузовик назад, попытались взять подъем с разбега — результат тот же. Бригада перестроилась, но повторные попытки ничего не дали. Только внимательно присмотревшись, я понял, что на подъеме они перестают толкать машину, а некоторые толкают ее назад. Так они топтались часа два.

Вдруг все изменилось: бригадир выскочил в сторону, замахал над головами полосатиков палкой, закричал диким голосом, и машина нехотя поползла на подъем. Из-за нее показался эсэсовец.

Метла в моих руках сразу заработала, вода полилась за порог, обильно смачивая сухую землю. В тоже мгновение с треском открылась дверь конторы и на крыльце появился Юп, держа за шиворот пожилого заключенного француза, который зашел туда часом раньше.

Проклиная лодырей, бездельников и их родно ужасной смесью самых звучных проклятий, он толкнул француза с крыльца. Тот турманом скатился по ступенькам и помчался с быстротой ветра в сторону от подходившего эсэсовца. Мне показалось, что француз смеется. Проводив эсэсовца, Юп не останавливаясь прошел мимо, серьезно спросил:

— Ну как? Бережешь задницу?

Позднее я узнал, что один из неписанных законов лагеря гласил: «Как бы ни работать — лишь бы не работать». В развернутом виде это значило: «Можно ничего не делать, но если хочешь жить — шевелись».

Через неделю, наблюдая из своего убежища за распределением вновь прибывших заключенных, я мысленно поблагодарил Юпа за первую встречу.

Было семь часов утра. Солнце поднялось еще не высоко и в прохладном песке, радостно чирикал, купались воробьи. По синему небу куда-то торопились белые пушистые облачка.

Командофюрер, как будто нарочно, послал Юпа в контору по каким-то делам, а

сам занялся распределением новеньких. Все они плохо понимали немецкий язык. Особо русские.

Командофюрер — лохотонный длинноногий офицер с тупой лошадиной физиономией — был тяжело ранен на русском фронте и ненавидел русских зверской ненавистью. Покрипывая лакированными сапогами, он неторопливо прошелся вдоль строя, внимательно разглядывая номера, нашитые на левой стороне груди.

Остановился возле коренастого, плотного седого новичка.

Спросил негромко:

— Русский?

— Русский.

— Солдат?

— Офицер.

— Сколько лет воевал?

— Не понимаю.

Командофюрер оглянулся:

— Переводчик!

Подскочил молоденький эсэсовец, картинно щелкнул каблуками, перевел.

— Два года.

Застегнув черные толстые хромовые перчатки, начальник, не повышая голоса, продолжал:

— Сколько убил немцев?

— Не считал.

Почти не размахиваясь, коротким толчком левой руки немец ударил седого в лицо.

Обливаясь кровью, русский офицер зашатался и повалился на спину, хватая руками воздух. Правая черная перчатка донесла в падении, глухо стукнула в висок.

Ноги упавшего судорожно дернулись.

Брезгливо морщась, убийца осмотрел и тщательно расправил перчатки. Спокойно сказал переводчику:

— После вечерней поверки в крематорий. Пусть Юп вычеркнет из списков. Порядок — прежде всего.

Весело светило солнце и спешили куда-то пушистые облака. Так же радостно чирикали воробьи, ныряя в песок, когда мы с Юпом занесли труп в гараж. Юп записал номер погибшего. Снял свою плоскую, как блин, полосатую бескозырку, смял ее в руках, минуту стоял молча, глядя на убитого. Бесконечно усталое лицо его — сплошная боль. Но только на мгновение. Поворачиваясь, сказал:

— В перчатке свинец. Не зевай, сынок, — работай глазами.

Грузно постукивая колодками, он пошел к выходу, но едва переступив порог, побежал бегом.

После рабочего дня колонны заключенных заходят в лагерь под гром духового

оркестра. Играют лучшие музыканты Европы. Сверкает медь и никель начищенных труб. Звуки маршей и развеселых песен глушат ликующим ревом стук десятков тысяч деревянных колодок, стоны избитых людей. Многих товарищей ведут под руки, многих несут на носилках. В строю присутствуют все: и живые и мертвые, — пока не сойдется счет.

Седой офицер, не проработавший дня, еще числится в нашей команде, и его зачислили в общее число.

Немецкое радио ежедневно трубило о победах Гитлера, но в лагере никто этому не верил. Какими-то неизвестными путями заключенные каждый день узнавали последние сводки Совинформбюро, и они обязательно подтверждались официальными передачами недели через две, три.

Я видел Юпа ежедневно. Со мной он не разговаривал, да и некогда ему было этим заниматься. Почти все время он находился в движении, стремительно вышагивая по всей территории команды.

В конторку, обычно после обеда, заходили изредка по одному заключенные. Я приметил, что в это время у окна обязательно стоит уборщик Сашка Смирнов — русский пятнадцатилетний мальчишка. Немцы называли его Алекс. В руках у него тряпка. Он протирает чистейшее стекло, но смотрит только на дверь гаража. Достаточно махнуть мне метлой у порога — и очередной посетитель пуль вылетает в дверь, сопровождаемый немислимой руганью. Может быть, это было просто совпадение, но именно после обеда по команде от одного к другому передавалась наша очередная сводка.

Я узнавал ее одним из последних на вечернем построении от своего земляка — учителя истории, работавшего в кузнице молотобойцем. От кого узнавал ее он — спрашивать не полагалось.

Однажды осенью к концу обеденного перерыва земляк появился в гараже. Испачканный угольной пылью, в закопченном халате, он, как сумасшедший, ворвался в гараж и бросился в дальний угол, увлекая меня за собой. Там он растегнул халат и вывалил из-за пазухи целую кучу твердых, как кости, галет, которыми немцы кормили служебных собак. Задыхаясь от быстрого бега, глотая слова, заговорил:

— Спрячь быстро в любую машину. Тут не найдут. Попался на собачьей команде. Позови сюда Юпа.

Юп явился немедленно. Учитель в двух словах объяснил, что номер его эсэсовцы записать не успели. Юп обратился ко мне:

— Твой халат чистый. Обменяйся с ним сейчас же. Алекс принесет иглу с ниткой и кусок мыла. Номер перешить. Этого чумазого отмыть добела.

И к Сашке:

— Потом в бригаду углежогов. Передай — пусть немедленно начинают чистить угольные ямы. На помощь им всю транспортную команду и лесорубов. Чтоб к вечеру все были, как негры.

Вечером при построении прибыли из соседней команды два эсэсовца для розыска похитителя собачьих галет. С азартом выдергивали они из строя всех, у кого халат и лицо были испачканы углем. Но когда таких набралось больше сотни, пыл их угас. Не найдя преступника, они ушли. На учителя, стоявшего рядом со мной в чистом халате с лицом, отмытым до блеска, даже не глянули.

Тяжело заболев, я пробыл в лазарете дней двадцать, а затем был выписан на другую команду.

Теперь я видел Юпа только издали утром и вечером, когда он впереди колонны покидал лагерь или возвращался.

10 апреля 1945 года американские тяжелые бомбардировщики бомбили окрестности лагеря. Случайные бомбы падали и на «лесной автопарк».

К вечеру весь лагерь знал о том, что на конторку Юпа упало несколько зажигалок и она вспыхнула, как факел. Юп с товари-

щами прятался в канаве, когда ему сказали, что в конторе остался Сашка. Одним прыжком он выскочил на отвал, выбил локтем оконную раму и исчез в дыму. Контора уже горела со всех сторон, когда Юп вылез из окна, неся на руках оглушенного взрывом парнишку. В этот момент с противоположной стороны здания взорвалась фугаска. Щитовые стены и крыша рухнули прямо на Юпа. Он упал вниз лицом, закрывая своим телом русского мальчишку от огня и обломков. Сашка остался невредимым. Юп умер мгновенно.

Это была единственная смерть по команде в этот день.

Колонна «лесного автопарка» — две тысячи человек — входила в лагерь последней.

Впереди четверо самых старых политических заключенных несли на плечах носилки с телом Юпа.

Оркестр, игравший какую-то разухабистую песню, внезапно смолк. В наступившей тишине колонна, тяжело печатая шаг, шла к месту построения.

Сорок тысяч выстроженных на плацу заключенных первый раз за все время существования лагеря сняли без команды шапки.

— Почему его все знают? — шепнул какой-то новичок.

— Потому что он жил для всех, — ответил мой сосед.

Сергей Донбай

Из цикла „Прелесть смысла“

НАТЮРМОРТ

Художник древний был другого склада,
Чем мы, к искусству льнущие теперь.
Его рукой был убиваем зверь,
Оглохший от бессильного оскала.

Дверь открой посредине России
И лицом к быстрине прикоснись —
Сколько там мужики искурили
В тамбурах, размышляя про жизнь.
Мы с тобою на встречных экспрессах
Разминемся. Помедлить нельзя!

Потом он, взяв добычу, нес до места.
Глаза горели, лил счастливый пот!
Он тушу рисовал, как натюрморт,
Пока костер готовили для мяса.

Полетят параллельно и резко
Наши волосы, руки, глаза.
Свежий ветер, простор неоглядный...
Через слезы предстанет страна —
Наши волосы треплет и гладит
На восток и на запад она.

ДАНИЛА

РАССКАЗ

Вот и пришла опять осень. Паутинится, туманится...

Собираются гуси и утки на далекий юг, которого старик Данила совсем не представляет, но почему-то считает его самым плохим местом на земле. Иначе зачем бы гусям и уткам возвращаться сюда и здесь выращивать своих детей. А ведь где родится дите, там и Родина.

Вырос Данила на реке, промышленяет с детства на протоке, названной почему-то очень несправедливо — Грязная. Вода в ней чистая и спокойная. По утрам дымитесь туман, а утки так и шныряют. Чирки под самую лодку сигануть норовят, гуси в зорьке розовыми кажутся. Зайцы поутру из кустов вылезут и сидят на берегу, словно снежные комья. И так хорошо Даниле на этом безлюдье, хоть плачь от радости. Гребнет разок-другой Данила и снова сидит, смотрит вокруг, смотрит уже восьмой десяток лет.

Все было у Данилы — сила, молодость, радость первого ребенка и горечь утраты. Четырех сыновей, верных ему помощников, взяла война. Сызмала учил он их ставить капканы и сети, учил ходить по следу дикого песца. А как они славно ползали по деревянному полу избышки,

построенной так давно, что на плоской крыше выросла талина.

Со стороны кажется, что в жизни Данилы все спокойно и размеренно. Жизнь идет по раз и навсегда заведенному порядку. Для того, кто не знает старости, пожалуй, так оно и есть. Но у Данилы каждый день на учете. Он слишком долго живет, чтобы дни пролетели незаметно. Нельзя Даниле жить, не замечая дней. Жить ему осталось мало. И гребет он потихоньку. Скоро сетка. Она небольшая. Посильно чтобы. А когда-то невода тянул. Работал день и ночь. На большой земле воевали сыновья-погодки, а он здесь за всех один невод тянул. Им помогал. Может, кому-нибудь и пригодилась его помощь, а сыновьям не помог. Только четыре бумажки привез по весне председатель колхоза. Ничего не сказал тогда Данила. Взял ружье, котелок, немного сухарей и ушел в тундру. Полгода никто из колхоза не видел его. Полгода, как старый пес, залечивал он кровоточащие раны свои вдали от людей.

А вот и сетка. Покурить, посидеть перед работой не помешает. Да и рыбка пусть почувствует, что приехал Данила за нею. Он с рыбой может разговаривать часами, как будто та с пониманием. Дымок лениво тянется изо рта Данилы и прижимается к теплой воде, и видно, как в глубине рыба следит за дымком. До гибели сыновей Данила перед каждым высмотром молился на маленького божка, а теперь только курит — слишком большую жертву взял идол, обиделся на него Данила. Не стал с ним советоваться больше. Понял — только на себя надо надеяться. Старуха Иримбо сначала ругалась на него, но потом отступилась. И только перед смертью сказала — помолись за меня, легче мне будет там.

Ничего не ответил Данила, только раскурил трубку и протянул старухе. Так и умерла она с трубкой в руке. А Данила и не заметил, как огонек прожжет еще совсем новую парку старухи Иримбо.

Так с трубкой и завернул ее в шкуры, положил на нарты и оставил на нартах на высоком пригорке.

Сгорел, кончился табак в старой трубке. Нагнулся Данила, подхватил согнутыми пальцами поплавков и тихо потянул бечевину. Лодка, словно живая, потянулась за ним, за сеткой. Удачный сегодня день для Данилы. Килограммов сорок сига накидал он на дно. Попалось несколько недомеров стерлядок, но старик сразу же выбросил их обратно. Пусть живут. Данила еще успеет их поймать.

Обратно грести тяжелее. Но Данила не торопится. Ведь никто его больше не ждет в сухой избушке, не выходит встречать с радостным криком. Одиноко, да может, так оно и лучше — никто не мешает Даниле думать.

Жизнь длинная — есть о чем думать. Есть что вспомнить... Можно и «Спидолу» послушать. Любит он, когда на русском языке говорят. Сам старик по-русски знает всего несколько слов, но слушать любит, и, когда слышит знакомое слово, радость теплой волной разливается по груди.

...Молодой был тогда Данила. Всего тридцать весен встретил. Поехал однажды в залив, чтобы нерпы малость напромышлять — больно шкурка понравилась. Весело собаки бежали по насту. А Данила лежал на нартах да изредка покрикивал на них — не ленились чтобы.

Под вечер на другой день приехал на место. Широкий залив, но Данила знает, где искать нерпу. Еще в детстве с отцом бывал он здесь. Раскинул полотняную палатку, развел костерик. Попил чайку и спать лег. Утром лунку долбить стал. Увлёкся и не заметил, как сзади подошел медведь. Будто что-то оборвалось,

когда обернулся. «Хозяин» молча приглядывался к человеку. Он чуял запах оленьих шкур, теплый запах рыбы. Но перед ним была преграда — этот маленький черный человекишка. Закричал Данила, замахал остолом. И зарычал медведь, поднялся на задние лапы и пошел на Данилу. Струсил Данила и в сторону. Медведь за ним. Вот-вот нагонит. И вдруг выстрел. Оглянулся Данила, а медведь присел на задницу, вертит головой от боли и вроде скулит протяжно. Глянул Данила в сторону выстрела — там, широко махая винтовкой в руке, шел к нему на лыжах высокий человек.

Говор у него был каким-то удивительно мягким. Некоторые буквы он кажется совсем не выговаривал. Ничего не понял Данила из его слов, только виновато улыбнулся.

Рыжебородый обнял его и повел ближе к медведю. Не доходя пяти шагов, еще раз поднял винтовку и добил зверя. До сих пор шкура лежит в избушке на почетном месте. Поистерлась, потрепалась, а лежит.

С тех пор и любит Данила этот мягкий, добрый язык. Давно бы переехал в поселок, там много таких людей, да там ему мешают думать. Но ведь Даниле еще много случаев из жизни надо вспомнить. А жить Даниле осталось мало.

Сколько еще зорь осмотреть надо, весну встретить, гусей, уток, лебедей, и тогда старик Данила умрет. Потому что долго жить хорошо, но и вовесть умереть тоже хорошо. Весной весело умирать. Тундра ласковая, ручьи, речки шумят. А зима нужна, чтобы додумать жизнь. Правильно рассудить ее.

А осень? Что ж, осень она, как старость — светла и тиха...

Николай Колмогоров

● ● ●

Подорожник, подорожник,
теплый вечер, говор леса...
Лягу тихо на дорожку,
буду слушать сказку лета.
Краснояблочные ветви,
словно руки скифиянок.
Что-то им лопочет ветер,
пролетая полустанок.
Сад в дремоте, словно табор.
Я еще почти мальчишка.

Отчего тебе молчитя,
мой шестнадцатый сентябрь?
Я подумал: завтра утром
ты заполнишь эти дали
ультрасолнцем, ультразвуком,
отголосками печали.
И придешь таким хорошим,
приласкав ладошкой озимь,
и по этим желтым рощам
поведешь девчонку — осень.

● ● ●

Смещение тайги,
стволов столпотворенье,
падучий снег, зыбучий, как туман.
На лыжи встав, уйти в стихотворенье
вон к той скале
отвесной, как талант.
Уйти за снегопышущий, огромный,
как мех гармони, зубчатый порог,

хрустящую лыжней, лыжней укроной,
не думая, чтоб кто-нибудь помог.
Всегда один,
поэт всегда один...
На лыжи встав, уйти в стихотворенье!
Падучий снег, скрипучий бег вершин,
смещение тайги,
стволов столпотворенье!

● ● ●

Были звезды...
И тотчас, и сразу,
превращаясь в неистовый звон,
небо сыпало жарко и страстно
изумрудные пригоршни звезд.
Мои сани летели, летели,
рассекали со свистом снега!
Мои щеки горели, горели
словно бы от стыда, от стыда.
И бежала,
бежала,
бежала,
в серебро окуная луга,

точно смехом гулять зазывала,
белощекая в небе луна.
Мои вожжи гудели, как струны,
и под храп взгоряченных коней
вылетали свистящие струи
за объятья февральских саней.
И дорога, как шашка, блестела,
и, как шуба, прильнув ко плечу,
моя молодость
в песню летела,
до которой
я скоро
домчу!..

ТЫ ГОВОРИШЬ...

ЭТЮД

Ты говоришь, я счастливая...

Я трогаю юную июньскую траву. Кла-
ду свои руки на теплый ствол сосны, как
на теплые шершавые ладони. Вздвигаясь
взглядом по ее веткам на дремучую вер-
шину и достаю небо.

Нас трое: земля, небо и я — счастли-
вая.

Счастливая-я!

Но я не знаю могилы моей матери...

Тучи, как серые волны, закрывают си-
нее небо, как закрывают зеркало люди.
От сосны горько пахнет смолистыми све-
жими досками, и земля покрыта темной
холодной травой.

Ты говоришь, я счастливая — я рано
научилась петь...

Мать качала меня в люльке и пела,
пела...

Я рано постигла ритм музыки. Мать
любила танцевать и часто кружилась со
мной в пустой неуютной комнате...

Птица учит своих птенцов летать. И
летит с ними рядом за моря и океаны.

А я до сих пор не могу постичь ритм
жизни и разбиваю в кровь колена.

Мама умерла, когда мне было девять
лет.

Ты говоришь, я счастливая — я умею
видеть у человека горе, разделить с ним
сго, утешить и помочь...

Но как часто мое сердце переполнено
людской бедою и мне больно.

Я иду под дождем. Может, светлые
упругие струи охладят сердце и боль
утихнет? Может, ветер, яростный мой
друг ветер расплещет через край боль в
моем сердце — ну, хотя бы немного, — и
станет легче? Может, встретишься ты
совсем нежданно, совсем нежданно и
разделишь тяжесть моего сердца?

Я прихожу домой. Никто не поможет
мне снять мокрую одежду. Никто не по-
даст мне стакан горячего чая. И нет ко-
леней, к которым бы я преклонила свою
измученную голову. И никто не видит

моего переполненного болью, моего от-
крытого сердца. Это дано только матери.

Она припала бы трепетными губами.
Она выпила бы всю мою боль до капли.
Она перелила бы все в свое большое
бездонное сердце! — Только бы мне стало
легче.

Но это дано только матери.

Ты говоришь, я счастливая — я живу
в том городе, где умерла моя мать.

...Она была здоровая и сильная. Она
была красивая... В окне бился буран, и
казалось, весь свет засыпан колючим
снегом.

В углу стояла доска, хорошая сухая
доска с кровати. На ней было написано
карандашом: Арина Соснова. 29 лет.

В квартиру заходили старые незнако-
мые люди. Смотрели на меня, как смот-
рят в церкви на икону, скорбно и обле-
гченно. Молились. Шептали: «Господи,
побереги и спаси сироту круглую...».

А я глядела на всех и была словно в
люльке с пружиной, которую сильно рас-
качали. И кружится голова, и страшно...

Маму хоронили соседи. Когда выноси-
ли гроб, кто-то сказал мне: «Возьми вон
доску, помоги».

Я взяла ее, легкую, и все думала: луч-
ше бы я несла тяжелый, тяжелый па-
мятник или хотя бы большой крест...

— Теперь иди домой. Буран с морозом,
а валенок нету...

Каждую осень я прихожу сюда и долго
брожу мимо оградок и памятников, мимо
потемневших крестов и все ищу могилу
моей матери.

Сторож, пропахший водкой, табаком и
осенью, долго и непонимающе смотрит
на меня: «Да-к ты ж спрашивала у мене
уже и в тот год и по за тот, и по тот, че-
во там... Прошла четверть века, считай...»

Я тихо ухожу.

Но знаю, что в следующую осень я сно-
ва приду сюда с букетом белых цветов.

...А ты говоришь...

Петр Ворошилов

„ГЕРЦОГ“ ПОДАЕТ В ОТСТАВКУ

РАССКАЗ

Открыла Стеша. В длинной ночной рубаше, в накинутой на плечи шали, непричесанная, она копно стояла в проеме двери, подперев могучие груди сложенными крест-накрест руками.

— Ну?

Ковалев хорошо знал крутой нрав жены Лясоты и не то, чтобы боялся, а как-то робел перед нею. Даже богатые чалдонки, относившиеся к замореным женам сельских активистов с откровенным предубеждением, дородную и хозяйственную Лясоту, уважали и в своих бабьих хлопотах не обходили ее чисто прибранный дом.

— Вzbуди Михайлу. Дело у меня служебное.

— Дня вам мало народ дивись, — сурово буркнула Стеша, не меняя позы. Она медлила, оценивающе ощущая маленькими зоркими глазками долговязого и нескладного Ковалева: юношескую хлипкость его фигуры не скрывала, а скорее подчеркивала форменная милицмейская шинель.

— Да мне на два слова.

Стеша поджала полные губы, повернулась и неторопливо ушла в горницу, оставив Ковалева топтаться на брошенном у порога половике.

Лясота появился заспанный. Потянувшись всем своим саженым телом, он сладко и широко зевнул, как пригревшийся на солнце пекле дворовый пес.

Как почти все очень здоровые и сильные люди, Лясота был добродушен и ленив. Работа в милиции мало изменила его характер. Беспокойная сама по себе, эта работа лично Лясоте не доставляла почти никакого беспокойства. При появлении степенно шествующего саженого милиционера покорно трезвели мужики, задушившие

в базарный день, испуганно умолкали крикливые солдатки, почтительно уступали дорогу парни. Получив вороненый, в новенькой хрустящей кобуре, наган, Лясота как повесил его на гвоздь над широкой супружеской кроватью, так ни разу и не снимал: все случая не было.

— Чего всполошился? — спросил Лясота.

— Нарочный верхом прибежал. Сказывал, чуть ли не весь лагерь в тайгу сошел. Самые бандюги.

— Давно?

— Сегодня по утру.

— Так чего же ты среди ночи в колокола трезвонишь? От лагеря до нас в двое суток не уложишься. Да и на кой леший им в нашу глухомань забиваться? В деревне не то что человек, каждый куренок на виду и на счету. Они в город двинутся. А это, выходит, совсем в другую сторону.

Лясота снова широко потянулся, покрутил крупной чубатой головой и сказал, подавив зевоту:

— Пойду добирать. От сна, говорят, еще никто раньше времени не умер.

— Подожди, дожди, — зачастил Ковалев. — Нарочный сказывал, что общая тревога объявлена. Велено все дороги перекрывать, народ оповестить.

— Экой ты право суматошный, — усмехнулся покровительственно Лясота. — Кого ты сейчас оповестишь? Это у меня дверь сроду не заперта. А сунься хотя бы к Игнату. Его кобели тебя тут же разденут, а сам Игнат с боку на бог не повернется. — Лясота подумал и добавил нравоучительно. — Милиционер обязан сначала трезво оценить обстановку и только потом, соответственно, действовать.

По службе Ковалев не подчинен Лясоте.

Оба — милиционеры. Правда, односельчане милиционером признавали только Лясоту. Добродушный и ленивый, он неспешно решал все деревенские споры и раздоры, а подвижный, рвущийся к делу, Ковалев не решал ничего. Самолюбивого Ковалева это мучило, но изменить он ничего не мог: за парнем, который не успел обзавестись собственным хозяйством, односельчане не признавали права на умное, рассудительное слово. Нарочный завернул к Ковалеву потому, что дом его стоял на окраине села, у хорошо наезженного большака. Но так или иначе нарочный завернул к Ковалеву, ему передал приказ о тревоге.

— Делай как знаешь, Михайла, а я пробегусь по лесовозной дороге. В тайгу она далеко забирается. Неровен час, набредут на нее беглецы и узкоколейкой прошмыгнут в город. Ищи их потом.

— Только харчей прихвати и поверх шинели надень что потеплее, — посоветовал Лясота. — Померзнешь пару суток — и обратно. Может, и, правда, заблудится какой бедолага, так хоть к теплу выведешь. Ну, а я, стало быть, с миром потолкую. Пусть остерегутся.

Старая рысь, собравшись в пушистый пружинящий ком, затаилась на нижнем суче вековой пихты, зеленой мохнатой лапой нависшей над звериной тропой.

Тропу пробили лоси. Лопухое семейство — горбоносый вожак, три оленухи и длинноногие лосята — все лето паслись на вырубках, густо затянутых молодой порослью осины и березы. По тропе лосихи ходили на водопой к вертлявой таежной речке, разлившейся здесь неглубоким светлым омутом.

Рысь остерегалась горбоносого вожака с тяжелой короной острых рогов. Но лоси ушли, когда осень хозяйственно накинута на рубки свое багряное покрывало, и тропой стала пользоваться всякая мелкая таежная живность. После ночной жировки в ивняках по тропе косолапо ковыляли к своим потаенным лежкам беспечные белки. Шустро сновали белки. Верткий с красными бешеными глазами колонок охотился за мышами.

Сегодня тропа была пуста. Но старая рысь умела ждать долго и терпеливо. Вот уже яснее обозначились верхушки соседних деревьев, тени внизу постепенно сгущались, наливаясь влажной синевой. Картаво прокричала кедровка — самая болтливая птица в тайге. Серенький зимний день занимался медленно, словно нехотя. Еще один голодный день.

...Человек пришел с лесовозной дороги. Он выкатился к пихте по наслезенной зайцами тропе, снял лыжи, потоптался в рыхлом неглубоком снегу и присел, настороженно прислушиваясь.

Старая рысь знала и боялась людей. Она не охотилась на них, сторонясь даже шумных ватаг ребятишек, собиравших грибы на вырубках. На память о встрече с человеком рысь носила в короткой мускулистой шее свинцовую пульку-горошину, с громом вылетевшую из дверей крайнего дома, едва рысь, тогда молодая, неосторожно приблизилась к деревне.

Старая рысь была голодна. И она решилась.

Ковалев почувствовал, как на плечи ему упало что-то живое и тяжелое. Он с трудом поднялся во весь рост. Свободно, корбром накинутый тулуп соскользнул. Ковалев выдернул из-за пазухи наган, обернулся. Матерая лесная кошка, злобно шипя, задними лапами рвала тулуп, намертво прикусив его высокий воротник. Ковалев дважды выстрелил. Две пули, ударившие с близкого расстояния, опрокинули рысь. Но матерая охотница не сдалась. Рывкнув, она прыгнула на Ковалева.

Бывалые охотники в схватках с одуревшей от голода рысью больше полагаются на охотничий нож, с широким закаленным клинком. Ковалев, судорожно прижав к себе пружинящий меховой ком, давил рысь всем телом, ломал руками, а затем, отстранившись, дважды ударил рукояткой нагана между желтых кошачьих глаз, горевших бесовским огнем. Рысь дернулась и затихла.

Ковалев ползком выбрался на лесовозную дорогу, сел. Саднило лицо: то ли достанулась лапой рысь, то ли, катаясь с ней в обнимку, напоролся он на закостеневший на морозе сучок. Хуже было с ногой. Даже легкая попытка пошевелить пальцами отзывалась острой, рвущей болью: похоже, что перелом. Сердце билось гулко, толчками.

«Что же делать?» — тоскливо подумал Ковалев. Он понимал, что Лясота раньше чем через двое суток с места не тронется. Казенный тулуп рысь распустила вдоль и поперек. И годился теперь тот тулуп разве что на заплату. Костерчик развести? Так много ли ползком дров насобираешь?

Вспомнился сосед, хромой дядя Ефим, вернувшийся с войны на костылях. Крепко убивалась Ефимова жена, голосила на всю деревню. Да и сам Ефим скоро почувствовал, что костыли ему в крестьянстве плохие помощники: только за столом не мешали ложкой работать. Приладил дядя Ефим деревяшку ниже колена и так к ней

приспособился, что, бывало, плясать на круг выходил. А на общественном лугу и здоровые мужики его первым косить пускали.

— Была бы голова целая, а все остальное приделать можно, — любил приговаривать дядя Ефим.

Ковалев заметил у обочины дороги стройную рябинку с надежной развилкой. Срезал ее близко к комлю, отделил лишние ветки, затесал и, поднявшись, примерился, навалившись на развилку всей тяжестью своего тела. Рябинка упруго выгнулась, но удержала. «Добреду помаленьку», — решил Ковалев.

Мешок с харчами, заботливо собранный матерью, остался под пихтой. Подумав, что неплохо бы захватить с собой кусок сала и пирог, Ковалев, опираясь на сделанный наспех костыль, осторожно заковылял к месту своей неудачной засады. Через высокую валежину перелез неловко, боком. Встал, отряхнулся зачем-то и тут увидел перед собой грязного, заросшего клочковатой бородой мужика в короткой стеганке. Мужик держался за лохматую лапу пихты и смотрел на Ковалева широко распахнутыми от ужаса глазами. Ковалев проворно ухватил за пазухой рубчатую рукоятку нагана, решительно шагнул вперед, и сразу же все: мужик, лохматая лапа пихты, тайга, — словно подпрыгнуло и закружилось в диком хороводе все быстрее и выше, пока не слилось во что-то темное и бесформенное.

Побег из лагеря готовили двое: Славик Горский, известный в уголовном мире под кличкой Герцог, и Вася Свояк — зверолод-добный детина с лихим казачьим чубом, начесанным на левую пустую глазницу.

Людей с последним этапом заслали в лагерь довольно пестрых. Прибыла группа мрачных кулацких сынков, на которых висели грабежи, поджоги и «мокрые» дела. Сынки из богатых сельских семейств, считая себя хозяевами, всякое жулье ненавидели не меньше, чем Советскую власть, и держались особняком. Хватало в этапе мелких шпаны, служащих, растративших казенные деньги или полстывших на крупную взятку. Были воры с именем — последние жалкие осколки блестящих династий, некогда властвовавших в обескровленных войной городах. Один из них — Леня Кляч передал Славику записку с воли, тайком пронесенную через все досмотры. В записке сообщалось: «Грач в клетке. Хутор дымит».

Прочитав записку, Свояк записывал и

предложил завтра же уходить с лесосеки.

— Прыгнем в кусты и рванем. Тайга укроет. В деревне бабу какую наколею, перехватим шамовки и — на железку.

Славик прикрикнул на Свояка.

— Остынь. Конвой не положит, так на станции заметут.

— А здесь чего ждешь? Хутор нам все равно не спишет. Шесть жмуриков на нем зависло: вышка верная, — настаивал Свояк.

Славика записка тоже встревожила. На том хуторе они наследили заметно. Правда, было из-за чего. Дрогнул чертов куркуль, когда одного за другим прислонили к печке его троих сопляков, когда с воем бросились ему в ноги простоволосая жена и старуха-мать. Сам спустился в подпол, вынес ведерную корчагу и грохнул ее об пол. Горохом сыпанули в стороны золотые, царской чеканки, десятки. Только напрасно погорячился куркуль. На шум ввалился в хату Свояк. Хозяин, когда-то гулявший вместе со Свояком в лесной банде, на свою беду опознал дружка по лихому казачьему чубу, начесанному на пустую глазницу, назвал по имени. Имя слышали все. Пришлось всех и кончать.

Хутор брали втроем. Оторвались чисто. Когда поделили и надежно, каждый для себя, припрятали золото, Славик предложил уехать подальше, в каком-нибудь захудалом городишке грабануть лавчонку и под чужими кличками с пустяшным делом уйти на отсидку. Славик рассуждал так. Во-первых, в лагере искать вряд ли будут. Во-вторых, через год-другой можно высочить на волю с настоящими документами. Живи тогда, как бог на душу положит. С такими деньгами не грешно и накрепко завязать на прошлом узелок.

Свояк, приученный беспрекословно слушаться, и на этот раз быстро согласился. Грач откололся. Поманила Грача разгульная жизнь с большими деньгами. Вот и встретился с уголовкой. Славик запоздало пожалел, что легко отпустил несговорчивого кореша: стоило ведь шепнуть Свояку и... Грача бы искать не стали. В этом мире он был прописан только в церковно-приходской книге, да и то под чужой фамилией.

В лагерь Славик и Свояк пришли с наспех придуманными биографиями. Суд за лавчонку отвалил сполна, но терпимо. Все складывалось удачно. И вот подвел Грач, как слепых под монастырь. Теперь выкручивайся.

Славик понимал, что дуром им из лагеря не уйти. Тайга не спрячет: с собаками найдут. Нужен какой-то другой план, рискованный, с неожиданным ходом, чтобы на-

дежно сбить с толку не только простоватую лагерную охрану, но и угрозыск, который кинется по горячим следам. Через неделю такой план у Славика был тщательно продуман. Он выложил его Свояку, но тут же предостерег нетерпеливого приятеля:

— Угадать надо так, чтобы снежок следы прикрыл. Это обязательно.

— А как опоздаем? — усомнился Свояк, приглаживая чуб.

— Не опоздаем. Грач — вор битый. За будь здоров к стенке не станет и поэтому расколется не сразу. Еще с месяц мы можем темнить, сделаем все по уму. Вахлак пойдет на волю правду искать и нас выведет.

Семен Коротов, прозванный Вахлаком, в лагере замаливал чужие грехи. Ограбили пушной склад в райцентре. Связку клейменных шкурок нашли у Коротова в доме. Хозяина мертвецки пьяного взяли здесь же. Следовательно как-то не задумался над тем, что кража случилась накануне ревизии склада, следствие провел наспех. И пошел Коротов в родную тайгу уже под конвоем.

Коротов не терял надежду, что найдет правду, не верил, что можно «невинного человека зазря мытарить». Поначалу он бунтовал, шумно и без ума. Отказывался выходить на работу. Пытался даже бежать. Всем этим вконец восстановил против себя лагерное начальство. Уголовники, пользуясь ребячьей доверчивостью Вахлака, безнаказанно обкрадывали его, обманывали, пока его не взял под свое покровительство Славик. Славик в своем плане делал на местного охотника главную ставку. Он организовал Коротову почту к приятелям-охотникам. Ответ Коротову пришел обнадеживающий. Оставалось ждать подходящей погоды.

Снег выпал после ноябрьских праздников. Жиденькие тучки робко притрусили захрясшую на холоде землю и, цепляясь за верхушки деревьев, стыдливо уползли в горы. Свояк яростно ругал господа бога и всех его присных. Но Коротов, носом чувявший здешнюю дурную погоду, заметно повеселел. После вечерней поверки он шепнул Славiku:

— Буран будет. Ба-альшой буран. Надо торопиться.

— Приятели в письме про избушку не набрехали? — спросил Славик.

— Такого меж нас не бывает, — серьезно ответил Коротов.

— Тогда завтра утром уйдем с лесосеки. План Славика был продуман до мелочей и учитывал множество обстоятельств. Ла-

герное начальство считало, что с ноября на пост заступает самый надежный по сиби́рским меркам часовой — сам дед Мороз. Для охраны начались отпуска, политзанятия, культпоходы в город, и на лесосеке конвой сократился до трех человек. Уходить предполагали пораньше. Пока хватятся, пока соберутся, а зимний день — куций. Потемну же и с собакой в тайгу не сунешься: кому охота глаза на сучки навешивать. Обмундировку на лесосеке выдают добрую: не замерзнут. Уводить решили всю смену, чтобы никто до времени не оповестил охрану.

Вдвоем такой план не выполнишь. Конвой брать, смену стронуть — не меньше десятка лбов надо, да таких, которым терять нечего. Помог Леня Кляч. Он пришел в лагерь под своим именем, пользовавшимся среди воров солидным весом.

Был в плане и тот неожиданный ход, о котором Славик не сказал даже Клячу. Славик знал, что побег, безусловно, всполошит всю милицию на сотню верст вокруг. Дороги к станциям перекроют, и сквозь облаву никому прорваться не удастся. Но вышка грозит только им. Значит, только им и надо надежно уйти. Куда? А в тайгу. Затаиться и отсиживаться так долго, чтобы все поверили, что пошли они на корм воронам.

Конвой взяли удивительно легко. К костру, у которого грелись три солдата-первогодка, подошел Свояк и стал жаловаться, что его разламывает лихоманка. Потом, словно ненароком, подсел Кляч и Коля Сверчок.

— Ты лоб пощупай, лоб. Температура! — крикнул Свояк.

Это было сигналом. Растерявшиеся конвойцы не успели взяться за винтовки. Их скрутили и оставили у костра. Славик не разрешил «мокрить», чтобы не злить охрану. Да и остальные понимали, что убийство в лагере не простят.

Когда отмахали по неглубокому снегу первые десять верст, выбившихся из сил совслужащих отпустили. Еще раньше, заправив за опояски тяжелые топоры и не попрощавшись, ушли «сынки». Их не задерживали: в тайге «сынки» из союзников превращались в противников. Всех устранило и то, что охране, кинувшейся следом, придется дробить силы.

Затемно остановились в глубоком распадке. Не зажигая костра, сбились в плотную кучу и так уснули. А ночью Славик и Свояк тихо ушли за Коротовым.

Распадок скоро вывел беглецов к просторному болоту, надежно схваченному

первыми заимками. Ветер, верхом кативший через горы и только встряхивавший зеленую шубу тайги, здесь дул резко, порывами, свободно поднимая не успевший слезаться снег.

— До свету заметет, заровняет, — уверенно сказал Коротов. — А мы к тому времени звон где будем.

Зябко кутаясь в короткополую стеганку, Коротов шагал ходко. Маленький, коротконогий, он легко перекатывался через толстые валежины, оцетинившиеся мертвыми цепкими сучьями, зайцем прыгал с кочки на кочку. Славик и Свояк, снявшие с конвойцев полушубки и валенки, едва поспевали за ним.

К приметной пихте, под которой приятели Коротова сделали для него тайничок, вышли, как и намечали, в тот час, когда медленно, словно нехотя, стал заниматься серенький зимний день.

И тут навстречу им встал милиционер.

— Шухер! — хрипло рявкнул Свояк.

Коротов услышал, как вниз по склону затрещали кусты. Сам Коротов не побежал. Куда побежишь? На что лось скор на ноги, а и его валит пуля, метко посланная вдогон. Коротов хотел жить. Он верил, что найдет свою правду и вернется в тайгу, чтобы честно делать свое дело — промышлять зверя. В короткой весточке в лагерь друзья ему описали, что охотничий припас его сохранили в полной справе, что собачек тоже уберегли, хотя покупатели на них были и не скупились. Коротов рассчитывал зиму отсидеться в избушке, построенной для него в Моховой пади, а весной явиться с повинной и потребовать нового суда. И вот опять заступил ему дорогу милиционер. Значит, не судьба. Против силы нужна сила, а у Коротова ее нет.

Судорожно схватившись за лохматую лапу пихты, Коротов с ужасом смотрел на милиционера и ждал выстрела. Но милиционер, сделав всего один шаг, нелепо взмахнул руками и повалился навзничь.

«Бежать!» — мелькнула мысль.

Если бы Ковалев в этот момент пошевелился или хотя бы застонал, Коротов бездумно ринулся бы в тайгу. Но Ковалев лежал неподвижно, и Коротов постепенно успокоился. Он увидел кровь на лице милиционера, а чуть поодаль — рысь, оскалившую злую кошачью пасть. Опытному охотнику не составляло труда последовательно восстановить события, разыгравшиеся утром под вековой пихтой. Стерегла зайца, а бросилась на человека. Выходит,

человек пришел один. Да и тупуп сбил кошку с толку.

Милиционер не шевелился. Коротов торпливо разрыл тайничок, заброшенный прошлогодней хвоей, вытащил узкую походную нарточку с охотничьим припасом. Из кучи патронов выбрал два, снаряженных жаканами. Одним зарядил берданку, другой сунул в карман. Потом подал голос.

Славик и Свояк, чертыхаясь, вылезли из-под кучи.

— Неужто гробанул? — удивился Славик, увидев лежавшего милиционера.

Коротов рассказал все. Потом спросил:

— Что будем делать, мужики? Оставлять его здесь нельзя. Погибнет он один-то. На тайгу, как на судьбу, одному богу пожалуешься. И видел он нас.

Славик пошевелил ногой распластавшегося Ковалева. Нижняя челюсть у Славика угрожающе выдвинулась вперед, образуя приметную бульдожику.

— Этому стражу общественного порядка осталось немного помочь, и он никому не будет отдавать рапорты.

— Убить что ли? — испуганно спросил Коротов.

— Ну зачем же так грубо, — усмехнулся Славик. — Эта симпатичная кошечка дело свое недокончила. Мы докончим. И потом даже на божьем суде будем говорить, что так оно и было.

Свояк потянул из-за ремня топор.

— Только аккуратней. На обух надень шапку и тюкни по темечку. Пусть уважаемый судмедэксперт долго думает, что покойный ударился головой вон об тот пенек.

Коротов с ужасом смотрел на своих путчиков. Сколько помнил себя Коротов, у него всегда в руках было оружие. Он привык убивать. Но убивать зверя. А они подняли руку на беспомощного человека. Таких не примет тайга, таких не примут люди. И его вместе с ними не примут, Коротов шагнул навстречу Свояку.

— Не дам убивать. Нет в тайге закона бросать порченного зверем человека.

— А мне плевать на твои законы, — прохрипел Свояк. — Единственный глаз его налился кровью, на отвисшей губе скопилась пена. Свояк походил на бешеного волка. — Я сам себе закон. Усек?

— Тогда и меня решай, варнак. Вот тебе ружье. В нем пуля положена. Стреляй в мою голову. Все одно такую беду люди мне не простят.

Славик отодвинул в сторону Свояка, прищурился и, сдерживая себя, заговорил свистящим шепотом:

— Ты что, гад, шатнуться надумал? Чистеньким хочешь быть? Забыл, чем мне обязан? А ну, сыпь в сторону. Без тебя его соборуюем.

— Не дам! — дико закричал Коротов и, вскинув берданку, передернул затвор. Славик испуганно отшатнулся. Сваяк уронил топор.

Ковалев очнулся от резкой боли в ноге. Лицо мужика, нагнувшегося над ним, было знакомо и незнакомо. На том, знакомом Ковалеву лице, глаза были широко распахнутыми от ужаса, а на этом, незнакомом, они щурились в доброй, участливой усмешке.

— Ногу-то ты шибко подвернул, паря. Я и поставил тебе ее на место. Нога — ничего: через недельку плясать будешь. Только вот после всех передраг, которые с тобой приключились, хворь к тебе пристала. Промежь себя мы эту хворь горячкой зовем.

Ковалев кивнул головой, осмотрелся. Лежал он на широкой лавке, приставленной к бревенчатой стене. Напротив, тоже на лавке, кто-то спал, с головой накрывшись полубубком. На полу, застеленном звериной шкурой, разметавшись, хрипло всхрапывал чубатый детина, смешно оттопырив припухлые губы. Пахло подгоревшим мясом, спиртом и псиной. Ковалев поискал глазами собаку. Почему-то ему очень важно было увидеть в избушке рослую зверовую лайку. Но собаки не было. «Странно, тут должна быть собака», — вяло подумал Ковалев. Он устало закрыл глаза, и сразу же бревенчатый потолок подпрыгнул высоко и пошел кругом, все быстрее, быстрее, пока не слился во что-то темное и бесформенное.

Ночью по-воровски на тайгу пал буран. Под напором бешеного ветра седые кедры рушились молча, смятая своей тяжестью доверчиво прижившийся рядом подлесок. С хрустом, оставляя высокие пни, падали сырые осины. Замшелые березы, махая изломанными ветвями, скрипели по-старушечьи натужно и жалостливо. Пихты, сбившись тесными рядами, держались стойко. Пихты умеют умирать стоя. Сколько их в тайге, выросших на корню, терпеливо ждут своего часа, чтобы сгореть в огне жаркого костра.

Избушка, прилепившаяся к скалистой крутизне, оказалась как бы в затишке. Но и ее порой до основания сотрясали могучие порывы ветра.

— Слушай, сверху на эту обитель ниче-

го не скатится? — с показной небрежностью спросил проснувшийся Славик.

— Умные же люди избушку клали, — ответил Коротов.

— Заметно. А то, знаете ли, не хочется, не облегчаю душу. Да и Советской власти в свой последний час я имею что оставить в своем завещании.

Жалея невинно пострадавшего Коротова, его крестный отец Влас Салтымаков и вассель Санятка все сделали надежно и обстоятельно. В тайничке у вековой пихты, кроме берданки с охотничьим припасом, нашлись лыжи, подбитые камусом, топорик, спички в жестяной коробке из-под конфет. В избушке, сложенной из хорошо подобранного сушняка, оказался приличный запас соли, табаку, сушеной малины на заварку. В пристроенном рядом лабазе висело полтуши сохатины, стояла большая кадушка с соленой рыбой и вместительный лагушок с медом. Всего этого на зиму не хватит. Но собирали-то на первый случай, не для пришлого человека, для охотника. А охотника тайга-матушка годным не оставит.

Об одном жалел Коротов — о том, что не встретил его ни суровый крестный, ни веселый балаболка Санятка. Всех троих их общее дело и старое знакомство сделали побратимами. Крестного Коротов выдернул из реки, когда лодка на бурном перекате села на камень и перевернулась. Плавать крестный не умел. Санятку же он учил тропить дорожку шкурку, брать соболя.

Шальные осенние бураны, буйно расходующие свои неокрепшие силы, бывают скоротечны. Ветер утих к середине дня. И тогда густо, большими хлопьями посыпался снег. Зима торопилась покрыть разбойный набег своего шалого сына и старательно настилала белые покрывала на свежие выворотни, надевала высокие пушистые шапки на пеньки, очерчившиеся острыми неровными зубьями, делала все старательно, с разумной щедростью заботливой хозяйки.

Крестный и Санятка как-то, видимо, узнали о тех, кто пришел в тайгу. Однажды обитателей избушки всполошил залихватистый собачий лай. Коротов распахнул дверь, и в нее вихрем ворвались две рослые зверовые лайки с лихо закрученными в крендель хвостами. Лайки с ходу атаковали Коротова, сбили его с ног и начали тормошить, по-щенячьи повизгивая. Коротов катался по полу, звучно чмокал собак в холодные чуткие носы, громко, чего никогда не делал в лагере, ругался матерно.

Вся эта кутерьма заставила очнуться Ковалева. Он скособочил голову, увидел собак и понимающе улыбнулся. Нога еще побаливала. Но Ковалев уже чувствовал себя хорошо отдохнувшим. Хотелось пить.

Стряхнув, наконец, с себя собак, Коротов поднялся и подошел к Ковалеву, который смотрел на него пристально, как смотрят люди, пытающиеся вспомнить что-то очень для них важное.

— Правильно в народе бают, что радость в одиночку не ходит, — сказал возбужденно Коротов. В последнее время немолодой охотник, бобылем проживший свой век в тайге, чувствовал к беспомощному Ковалеву какое-то необъяснимое расположение. Он спас парня от верной смерти и делал все, чтобы скорее поставить его на ноги. Зачем? Он и сам не смог бы ответить на этот вопрос одним словом. Выздоровление Ковалева не сулило Коротову ничего хорошего. Поднимется этот парень в милицмейской шинели и, исполняя свой долг, поведет его, беглого, куда полагается. Вот и Славик сколько раз твердил: «Успокойли бы этого юнца и себе руки развязали». Только Коротов иначе думает. Кровь накрепко, как оглоблю к саням, привернула бы его к этим варнакам. Это только кажется, что в тайге человека схоронить проще, чем медный пятак в речке. Искать начнут — найдут. Строго блюдут охотники обычай помогать друг другу в беде. Бывало, кровные враги на одной тропке лоб в лоб встречались, а расходились миром. Знали, что человеку, нарушившему неписанный закон таежного побратимства, не жить.

Но расположение к Ковалеву пришло позднее, уже в избушке. Лагерные дружки на поверку оказались совсем никчемными. Свояк — куда как силен, а нажрется, выпится, вылежится и ходит ворчит, как медведь-шатун. Ростом с елку, а с шишку в нем толку. Славик разговаривает вежливо, с ужимками да усмешечками. А все одно лодырь: дров отрубить для себя рука не поднимается. Возится, как недобитая вошь на гребешке. Оставь их вдвоем — коростой от грязи зарастут, но к речке умыться не сходят. Милицмейский же, видать, из другого рода-племени. Коротов как-то потрогал его руки с затвердевшими мозолями. Такие руки не хочешь, а уважишь. Человек с такими руками ест честно заработанный хлеб.

— Где я?

Ковалев хотел спросить строго и внушительно, а получилось совсем наоборот.

— Как тебе сказать, паря? Живешь ты на

этом свете, а числишься, надо думать, на другом.

— Оружие где? — уже строже спросил Ковалев, делая попытку приподняться.

Коротов придержал его. Он понимал состояние этого парня. Нечто подобное и сам пережил недавно у вековой пихты, когда от страха и отчаяния впервые поднял свою берданку не на зверя, а на человека. Оружие, оно и слабого бойким делает. Но настоящую силу придает людям все-таки не оружие. Свою большую силу Коротов почувствовал тогда, когда осознал, что и его никчемные лагерные дружки, и этот беспомощный милицмейский в тайге без него, Коротова, вроде дети малые и неумелые. Ни уйти им из тайги, ни прокормиться в ней. У пихты Славик и Свояк от берданки попятнулись. Теперь он их берданкой не страшит: под одной крышей живут, из одной чашки щи хлебуют. Захотели бы, дазно бы они и милицмейского, и самого Коротова в покойники определили. А самим куда? Так и получается, что без него, Коротова, им не жить. Вот в чем его сила.

Вспомнилось, как в деревне управившиеся по хозяйству мужики летом сбавившись в плотничьи артели. Брала не всякого, на выбор. А верховодил артелью дед Корней, который по своему старческому положению даже летом в валеных опорах ходил. В город, чтобы не отрывать от дома лошадей, мужики шли пеши, а дед Корней, словно боярина какого, везли в подрессоренной бричке. Слушались его самые строптивые, как иной сын родного отца не послушается. Потому что не было во всей округе плотника, могущего сравняться в мастерстве с дедом Корнеем. В этом была его настоящая, на всю жизнь данная ему сила. Такая сила была в тайге и у Коротова. И эта возмущившаяся сила вылилась в неприязнь к лагерным дружкам, подняла его высоко над беспомощным милицмейским, так высоко, что Коротов посчитал себя вправе прижать его и почувствовать к нему расположение. Строгость Ковалева, явственно прозвучавшая в неокрепшем еще голосе, не обидела и тем более не испугала Коротова. Он ответил миролюбиво, но твердо:

— Оружие я под изголовье тебе прибрал. А документы там же. Но тебе, паря, теперь не наган, а чаек с медком нужен. Ты у нас тут которые сутки только с архангелами беседуешь и сыт святым духом.

Дверь избушки распахнулась, и вошел Славик. Он бросил на стол кусок лосятины:

— Это варить? Или будем прибавать на пошшвы?

Коротов знал, что припас в лабазе они почти прикончили. Надо было давно уже побегать ему по тайге, осмотреть участок, поставить силки на птицу, на мелкого зверя. А то, глядишь, на медвежью берлогу бы наткнулся. Медведь с осени куда какой жирный. Но Коротов опасался оставлять Ковалева одного. В том, что опять придется варить опостылевшую сохатину, была его, Коротова, вина. И он готов был признать эту вину. Но ему уже не хотелось уступать Славику. И, кивнув на очнувшегося Ковалева, он, торжествуя, сказал:

— Ты бы вон с человеком обзнакомился. Совсем, кажись, ожил. И нас стало четверо.

Славик взглянул на Ковалева. Простое крестьянское лицо. На впалых щеках жарко горит румянец непрощедшей лихорадки. Губы обметаны серым налетом. Но глаза внимательные. Серьезные глаза.

Славик небрежно кивнул. Ковалев не ответил. Вошедший не походил на промыслового охотника, и это озадачило Ковалева.

Коротов, взяв обеих собак, ушел в тайгу. Они впервые остались вдвоем.

Свояк, доев все, что было на столе, кольнул Ковалева взглядом и по обыкновению завалился на лавку. Скоро он захрипел, оттопырив припухлые губы.

То, что больной милиционер ожил, Свояка мало встревожило. Рядом со Славином он привык не думать, а действовать. Скажет Славик, он придавит этого хлюпика и пойдет туда, где верная, всегда пьяная Манька Ласточка бережет его долю. Золотых «рыжиков» хватит им не на один год. Выправит себе какие ни на есть документы и будет ходить только по тихой. Это голодный волк в овчарне на хозяйские вилы лезет. Сытому можно действовать не спеша, осмотревшись.

Вася Свояк не отличался ни богатым воображением, ни умом. В том возрасте, в котором ребята идут в школу, жадный и расчетливый папая, служивший сотником у самого Махно, посадил Васятку на свою окованную железом тачанку и наказал пуще глазу беречь увязанное в узлы добро.

Почти три года в бешеном намете металась по степи гривастые воронье, унося своего хозяина от тяжелых палашей кайзеровской кавалерии, от метких пуль деникинских офицерских батальонов, от настильного огня башенных бронепоездов балтийских матросов. Цепкий, как клещ, Васятка наловчился чертом держаться на вихляющем облучке. В тачанке он ел.

Здесь же чутко спал, свернувшись в клубочек на грязной попоне. Днем ли, ночью ли, стоило только кому-нибудь подойти к тачанке, как из нее высовывался навстречу ствол короткого кавалерийского карабина, а следом поднимался Васятка и сверлил пришельца недобрыми глазами, в которых не было ничего детского.

Кто знает, у какого двора остановились бы насовсем гривастые воронье, если бы не положил папая свою кудлатую голову под острую хохлацкую шашку червоного казака. В тот вечер, захваченные врасплох сотни, ринулись из хутора в степь. В свалке Васятке выхлестнули нагайкой глаз. Но тачанку с отцовским добром он привел к сборному пункту. Да напрасно привел. И добро у него забрали, и вороных, и карабин. На прощание дали оскалившие зубы парнишке по шее и отпустили на все четыре стороны.

Дома Васятку никто не ждал, и пошел он по белому свету злой на весь свет. Прибился ненадолго к лесной банде. Потом в городе познакомился с жульем. Его скоро приметили. Даже легких на руку, одуревших от кокаина налетчиков удивило полное равнодушие одноглазого махновца к своей и чужой крови. Он не радовался ни деньгам, ни хмельной гульбе, ни людям; походил на волчонка, которого никому не удавалось ни застрашать, ни приручить. Но Славик сумел разглядеть в его темной душе какие-то скрытые струны человеческой привязанности. Все Свояку, когда он встретился со Славином, было уже полных двадцать лет, и он к этому времени успел хорошо рассмотреть жизнь, правда, с изнанки. Свояк как-то неожиданно легко подчинился Славику и, направляемый его умной злой волей, стал особенно опасен. Он не был лишен природной сообразительности, не знал страха, не мучился угрызениями совести и был очень удобным исполнителем.

На воле, в лагере, в любом деле Свояк равнодушно брал на себя самую грязную и опасную сторону работы, заслоня Славика от зоркого и пристального взора уголовки, а, когда требовалось, и от своих воров, не ко времени вспомнивших старые счеты.

В избушке Славик полностью мог рассчитывать на исполнительность Свояка. Но время действовать еще не подошло. Зимняя тайга держала намертво. А на тайгу, тут прав Вахлак, как на судьбу, одному богу можно пожаловаться.

В хорошо продуманный и выполненный план побега вкралась досадная неточность

в виде долговязого милиционера, пока припечатанного к постели. Надолго ли? Славик давно приметил, что Вахлак, выгладевший в лагере жалким, забитым, здесь, в тайге неожиданно распрямился, будто даже подросток коротышка. Такой по требованию любого шпына парашу уже не понесет, сам целит всех впрячь в работу. И на милиционера он поглядывает, как на близкого родственника. Если эти двое столкнутся, ситуация сложится довольно запутанная. Вахлаку рано или поздно все равно с повинной идти. А если он надумает повиниться ими?

Однажды Славик крупно проигрался в карты. Подошла его очередь bankовать, а ставить было нечего. И он поставил «на выстрел». Жизнь его воры оценили до обидного дешево: в три червонца. Первый круг Славик прошел без потерь, и на столе скопилось порядочная куча денег. Сидевший на первой руке Мишка Лох пошел на все на шестерке и прикупил две девятки. Это несколько отрезвило остальных. Все видели, что Славик просто везет, и решили спустить кон. Последним был щуплый и белообрый карманник из новеньких, Ленька Седой. Он держал туза. Леньке очень хотелось заказать крупно. Но отвечать ему было нечем. И тут к играющим подошла Катюша Чететка. Посмотрела ленькиного туза, сложила подкрашенные губы сердечком и сказала нараспев:

— Мне этот мальчик нравится. На все.

— Чем ответить? — хрипло спросил Славик.

Катюша забористо выругалась. Среди своих ее знали, и слову ее полагалось верить.

— Чем ответить? — снова спросил Славик.

— Ты бы не сердил меня раньше времени, — Катюша подбросила на ладони туза. — Захочу к стенке прислоню, захочу со мною рядом спать будешь.

— Чем ответить?

Катюша рассердилась. Она сдернула с руки перстень с дорогим камнем, бросила его на стол. Перстень встал дыбком и, вихляясь, покатился. Все бросились его ловить. Этого момента и ждал Славик, ради этого торговался с Катюшей. Держать банк Славика учил умненький старичок с манерами аристократа, отлично умевший отвлечь внимание присутствующих какой-нибудь мелочью, чтобы перевернуть карту.

— Лапы на стол! — скомандовала Катюша, поймав перстень.

Славик послушно положил колоду.

Карту по общему приговору вытянул

Лох. Катюша взяла ее, посмотрела в глаза Славика и небрежно перевернула. На туза легла трефенная дама.

— Еще.

Лох, ковырнул колоду черным от грязи ногтем, снова подцепил самую нижнюю карту, подал.

— Вскрой! — приказала Катюша.

Лох вскрыл десятку...

Ссориться с Катюшей было опасно. Славик сам надел ей на палец ее дорогой перстень.

— Теперь мы вроде с тобой обрученные.

Катюша с готовностью хихикнула. Об этом начинающем юнце она знала больше, чем он сам. «Короли» предрекали ему большую судьбу. Но брать его надо было немного раньше. «Когда с этим юношей начнут здороваться швейцары одесских ресторанов, будет поздно», — говорили Катюше. Что ж, она попробовала взять и, кажется, уже опоздала.

Тот банк запомнился Славiku. Рисковать имело смысл тогда, когда карты в твоих руках. В избушке пока сдавал Вахлак. Это было обидно признать. Но дела это не меняло.

По характеру своему Славик был позер. Он, прямой потомок рыцарского рода польских шляхтичей, по указу Екатерины II, высланных в Сибирь за участие в восстании, и вот — бандит. Это действовало на воображение. На хуторе Славик с показным равнодушием смотрел, как Свояк и Грач топорами приканчивали семейство того куркуля. Сам он непосредственно в побою не участвовал и на худой конец мог сойти только соучастником. Да и в свидетелях, если Грача шлепнули, остался один Свояк.

Умный, достаточно образованный Славик довольно быстро выдвинулся в среде, которая жадно впитывала в себя людские отбросы. Многие знали и боялись Герцога. К красивому парню льнули жадные до денег «марухи» — свои и чужие. Уважительное отношение «королей», раболепие мелкой шпыны льстило самолюбию и приятно щекотало нервы. Герцог метил на королевский трон. Но трон все больше казался недостижимым и опасным. Уголовка в последнее время начала работать всерьез и один за другим подсекала такие «дубы», тропки к которым, казалось, были надежно и навсегда запутаны.

Старичок с манерами аристократа как-то, в минуту откровения, сказал Славiku: «Для думающего человека наша профессия стала просто опасной и невыгодной. Не пора ли подавать в отставку, Герцог?» Сла-

вик и сам понимал, что пора. Однако он не хотел подавать в отставку нищим. Хутор обеспечил его деньгами, имеющими твердую цену. Оставалось добраться до них и под чужим именем залечь на дно. Можно было податься на какую-нибудь дальнюю стройку, где людей всегда не хватает. Возьми его потом, с рабочим стажем, всего советского и перевоспитавшегося.

Славик считал себя на голову выше Вахлака, который что-то значил только в своей тайге. Но в душе молчаливого милиционера, пожалуй, стоило поковыряться, пощупать, насколько он глубоко дышит. Потом можно будет подумать, с какой ноги начинать очередной пируэт в этом затянувшемся танце.

Ковалев знал, что слепой случай свел его в избушке не просто с охотниками. О побеге из лагеря ему рассказал Коротов, открывшийся в своей невиновности. Но о том, за что отбывали срок Свояк и Славик, почему ушли, ему оставалось догадываться самому.

— Сыграем? — предложил Славик и веером распустил карты, слепленные Свояком из старой книги.

— На что? — спросил Ковалев. — Денег у тебя не должно быть. Я тоже не прихватил. Обмундировка на нас обоих казенная. Если и выиграешь, все одно не пользуешься.

— Сыграем на выстрел, — сказал Славик.

— Это в каком смысле?

— Проигравший берет твой бульдог и, попрощавшись, идет за дверь. Заметано? Или слабит родную милицию?

— Раз проигранное в кон не ставят. Ты, милоч, сдается, мне не своей уже жизнью живешь. Под твоей-то жизнью, глядишь, прокурор давно черточку подвел. Так чего я у тебя выиграю? Вот поднимусь на ноги и поведу вас по нужному адресу. Там посмотрим, у кого где слабина обнаружится.

— А ты нахал, уважаемый. Я тебя через всю тайгу на руках транспортировал, когда ты совсем уже готовый был. Теперь ты мне грозишь. Не по совести получается.

Первая брошенная Славиком приманка смутила Ковалева, но не надолго. Ковалев догадался, откуда ветер на него подул, и сразу ошетинился:

— Ты меня не совести. И в спасители ко мне не набивайся. Все мои беды по твоей милости.

Славик решил попробовать другой ход.

— Не все, уважаемый, далеко не все. Многие и другие предположить. Скажем, я

разбужу своего кореша. Шепну ему два слова, и, как в песне поется, заплачет маленькая твоя. Уразумел?

Ковалев пренебрежительно махнул рукой.

— Ты, однако, плохо эти песни знаешь, если слова переврал. Могу напомнить, — Ковалев деланно потянулся и достал из-под изголовья наган. — Две пули в кошке, а остальные тут. И я не промахнусь. Уразумел? И еще учти: вас двое и нас двое.

— Это ты Вахлака что ли в союзники зачислил? — спросил с наигранным удивлением Славик. — Не рано ли?

— Ваш Вахлак в лагере остался. А Семен Коротов мне наган вернул. Вот и считай, где твои, а где наши.

— Как же понимать нам свое положение? Под караул попали или в сестры милосердия?

Неопределенность обстановки угнетала и Ковалева. С одной стороны, он, находясь при исполнении служебных обязанностей, обязан был считать своих случайных сожителей арестованными и вести себя соответствующим образом. Болезнь его при этом не играла никакой роли. Лежачий и беспомощный, он все равно оставался представителем власти. Это заведомо делало его сильнее и умного, хитрого Славика, и здорового, ходячего Свояка, и даже Коротова, ищущего свою правду. А с другой стороны, получалось так, что он должен был безропотно выполнять ту часть общей работы, которую определила для них зимовка в охотничьей избушке: вместе со всеми сидеть за стол, по-человечески беспокоиться о всех и каждом. Свояк прожег валепок, неосторожно прислонив его к неостывшей печи. Подшил ему валепок Ковалев. Свояк подшивать не умел, а в тайгу ему идти голоногим нельзя.

Постепенно Ковалев начал открывать в своих сожителях черты характера, которые ему определенно нравились. Симпатичен был живой непоседа Коротов, пребывавший в вечных хлопотах. Свояк по-своему был не лишен чувства преданности: за тем же Славиком он пойдет в огонь и в воду; если понадобится, телом своим заслонит его от пули и от зверя. Славик много знал и видел. Его несколько иронические рассказы о жизни в залитых светом шумных городах Ковалев слушал с большим интересом, чем охотничьи побаски Коротова. В городах Ковалеву бывать не приходилось.

Участие в поимке бежавших из лагеря преступников было первым живым делом Ковалева. Отправляясь на лесовозную дорогу, он втайне надеялся, что с оружием в

руках решительно встанет на пути бандитов, задержит их и доставит в село. Вышло так, что его самого, лежащего, завезли в охотничью избушку и он оказался в нелепом положении сожителя с теми бандитами, которых собирався ловить и доставлять. Разберись тут: он ли их караулит, они ли его? А Славик, задав свой вопрос, ждет ответа. Славiku важно знать, каким будет этот ответ.

— А на кой бес мне вас караулить? Тайга караулит. Меня обмануть можно. Тайгу не обманешь. Так что буди своего кореша, берите по топору и нарубите дров. Хватит брамами жить. Семена я сегодня же приструню, чтобы он с вами шибко не нянчился. Кормит дармоедов, и на том спасибо.

Славика поведение Ковалева все больше настораживало. Мальчик в милицейской шинели пробовал голос. Всерьез пробовал, так, что в голосе этом слышались угрожающие нотки. Мальчик пока не такой страшный, каким себе кажется и каким ему хочется быть. Но характер сказывается. Со временем, надо полагать, мальчик станет солидным мужчиной. Это сейчас у него шея цепляющаяся, и весь он нескладный и длинный. Хорошую породу можно угадать по рукам. А руки у него крупные, с могучими, развитыми постоянной работой запястьями. Из таких рук и Свояк не вдруг вырвется. Но особенно смущали Славика глаза непрощенного сожителя. Задумается Ковалев, и глаза его наливаются чистой и светлой голубизной. Но стоит ему взглянуть на Славика, голубизна сразу же густеет, превращаясь в холодную синеву отменно закаленной стали. Когда Ковалев метался в бреду, его высветленные болью бессмысленные глаза становились мертвенно белесыми.

Был и такой случай. Свояк сунулся за чем-то к изголовью Ковалева, Ковалев выдернул наган и глянул на Свояка такими глазами, что по характеру неробкий Свояк торопливо попятился и сел на лавку, совершенно растерявшись.

«Вроде сразу на меня черные три стзола вскинул», — говорил потом Славiku Свояк, оправдывая свою растерянность.

Странные были глаза у мальчика. Будто был у него припасен целый набор цветных заставок, и он мог по собственному желанию менять их, как ему заблагорассудится, то уменьшая, то усиливая подсветку. Были в этом наборе и красные стеклышки — страшные стеклышки безрассудной

ярости. Эти стеклышки Славик сам видел.

Человека с такими глазами не уговоришь и не испугаешь. Он сам уговорит и испугает. Вахлак от них в тайге легко откачнулся: силу свою почувствовал. А к этому мальчику сам собой клонится. Видно, в нем еще большую силу чувствует. Или правду свою нашел. И с этим тоже надо считаться. Если дело у них до стрельбы дойдет, Вахлак, пожалуй, рядом с ними не станет.

Славик считал себя умнее, образованнее этого мальчика в милицейской шинели. Это давало ему перед Ковалевым некоторые преимущества. Но взгляда Ковалева не мог выдержать и он.

Внешне жизнь в избушке начала налаживаться.

Коротов целыми днями пропадал в тайге. Охотничий участок крестный подобрал ему, не поскупившись. За крутинкой, растущая по просторному увалу, тянулся ядреный кедровый бор. Год на орехи был урожайный, и в бору задержалась на зиму белка. Где белка, там и соболь. Коротов каждый раз возвращался с богатой добычей. Снимать и расплывать на просушку шкурки ему помогал Ковалев, с опаской уже наступавший на больную ногу. Днем Ковалев следил, чтобы не прогорела печь, и как умел, кашеварил. Свояк и Славик заготавливали дрова, разделявая чудовищно толстый березовый хлыст. Они же, пробив в снегу узкую тропку, ходили за водой к протекавшей внизу речке.

Встречаясь все вместе, разговоры вели неспешные, хозяйственные. Живущим под одной крышей нельзя не иметь общих забот. Широко расставив западни и ловушки, Коротов не успевал обойти их все за день. Как-то он принес в клочья порванного соболя, которого раньше охотника нашла сова. Соболю был черный, как уголек: настоящая головка. Коротов очень жалел напрасно загубленного дорогого зверька и ругательски ругал себя. Бывший рядом с ним Славик предложил обход хотя бы ближних ловушек взять на себя.

— Смастери нам со Свояком какие-нибудь снегоступы. Не заблудимся рядом с нашими хоромами.

Коротов лыжи сделал. Были они широкие с чуть загнутыми носами. На таких много не побегаешь, но ходить по рыхлому глубокому снегу — в самый раз.

Однако помимо внешне согласной, общей для всех жизни, в избушке подспудно кипела другая, для каждого своя жизнь, тайная и сторожкая. О будущем, по молчаливому согласию, старались не говорить:

всем четверым оно казалось слишком неопределенным. Но думать и сам себе не закажешь.

Как-то Славик от нечего делать демонстрировал остальным свое искусство держать банк. Небрежно, вроде не глядя, он перетасовывал колоду, давал поднять, но всякий раз получалось так, что на туза ложилась дама, а за ней шла десятка. Коротов просил еще и еще повторить фокус, полагая, что уследит за Славиком. Но Славик вдруг встал, широко распахнул дверь и выбросил всю колоду. Потом лег, накрылся полубухом и затих.

Бывало, и Коротов, рассказывая очередную охотничью побаску, неожиданно обрывал себя на полуслове и надолго умолкал. Случалось, что в избушке вспыхивали скоротечные яростные споры. Свояк хватался за нож, Ковалев совал руку под изголовье. Но до стрельбы дело пока не доходило.

Беда в избушку пришла неожиданной и с той стороны, откуда ее уже не ждали: снова слег Ковалев. С вечера он жаловался, что побаливает нога. Решили, что он слишком много ходит, и посоветовали прилечь. А ночью Ковалев уже метался в тяжелом беспамьятстве. Его по очереди поили горячим чаем с медом. Но испытанное таежное лекарство не помогало. Все разъяснилось, когда Коротов догадался снять с ноги больного наложенную им раньше тугую повязку. Ступня у Ковалева заметно распухла. От пальцев на взъём поднималась багровая полоса. Да и сами пальцы были плотные, неживые.

— Ознобил, выходит, он ногу-то. Еще тогда ознобил. Как же это я обмшурился?

— Ладно причитай. Скажи, что делать надо? Может, к приятелям своим за лекарством смотаешься? — сердито сказал Славик.

Коротов задумался. Обмороживались в тайге часто. Бывает, завернет такой мороз, что плюнешь, а на землю уже ледышки мелкой дробью падают. Или буран на полдороге прихватит. Как не обморозиться? Зато и лечение простое. Разотрешь шерстяной варежкой, гусиным или медвежьим салом смажешь погуще — всего и делов. Это, если вовремяхватишься. А не доглядел — зови доктора: мази не помогут.

— Придется мне, ребята, в деревню за доктором бежать, — сокрушенно предложил Коротов.

— Заодно не забудь в милицию стукнуть, — подсказал Славик.

— Выходит, что так. Иначе сгорит парень.

Свояк тяжело поднялся с лавки, встал у двери, загородив ее широкой спиной, про-

хрипел угрожающе:

— Из-за этого мента, который даже в бреду только и целится, как нас на короткий поводок взять, я к стенке не стану. Учти это, Вахлак. Навостришь лыжи в деревню, положу на месте. Об охоте пока тоже забудь.

— Белый свет пошире двери будет, его спиной не заслонишь, — сказал рассудительно Коротов.

— Это как знаешь. Я пуганный, и терять мне нечего, — Свояк потянул из кармана нож.

— Ты брось нож-то, — строго сказал Коротов. — Растрaviшь собачек моих, и распустят они тебя на лоскутки. Собачки у меня серьезные: на медведя ходить научены.

Свояк вдруг словно надломился. Страшно вытаравив свой одинокий глаз, он закричал дико и жалко:

— Сволочи! Не пушу никого. Гробьте здесь. С места не тронусь.

Славик подошел к Свояку и сильно ударил его в лицо.

— Заткнись, гад. Порешу...

Первым, вслед за Коротовым, в избу ввалился огромный Лясота. Он сунулся к лавке, на которой недвижно лежал Ковалев, прислушавшись, уловил короткое хриплое дыхание и расплылся в доброй улыбке:

— Живой, лешак, совсем живой. Давай-те-ка его, мужики, в тулуп и в санки. Дорога неблизкая.

Когда тепло укутанного Ковалева вынесли на улицу, Лясота вспомнил об остальных обитателях избушки, позвал Коротова, спросил строго:

— Где твои сожители? Показывай.

Коротов недоуменно пожал плечами, потом показал на стол. На столе лежала записка. Лясота схватил ее и прочитал вслух: «Герцог подает в отставку».

— Убегли, надо полагать, — сказал Коротов. — Пока я в деревню ходил, они убегли.

— От Лясы не убегут. Этих варнаков вся округа ищет, с ног сбились. Им на воле быть нельзя — убивцы. Ковалева мужики без нас доставят, а ты со мной двигай.

Четкие строчки лыжного следа тянулись седловиной пологой горы. Коротов на своих подбитых камусом лыжах бежал легко и ходко. Огромный Лясота громко сопел, часто проваливался, но не отставал. У свежего выворотня след раздвоился.

— Это как понимать? Порознь, что ли, пошли?

— По правую сторону горы у меня ловушки расставлены. Смотрел я на медведи и наследил. А они влево, под уклон пошли, — подсказал Коротов. — Однако нам, паря, поспешать надо. Сдурю могут на речку выскочить. А лед по перевозимку худой, совсем ненадежный. И ключи там теплые бьют. Правда, упреждал я об этом Славика. Но бог знает, как ему это запомнилось?

Лыжный след вывел к обрыву, хмуро нависшему над таежной рекой. Ветер сдержнул с реки непрочное снежное покрывало, и она ослепительно сияла на солнце ледяным панцирем, неправдоподобно гладким, словно отполированным. Река была пустынной.

Ухватившись за березку, Лясота навис над обрывом, посмотрел вниз. Прямо под ним на реке темнели две промоины, одна небольшая с округлыми краями, другая — неровная, широко распутившая от себя многочисленные трещины.

— Выходит, опоздали мы, — огорчился Лясота. Придется здесь и принять от того Герцога полную отставку.

Коротов тоже нагнулся над обрывом. Привыкший по малейшим приметам расшифровывать азбуку следов, он зримо представил, как тяжело ворочался в промоине человек, судорожно хватаясь за тонкий, расползавшийся трещинами лед, пока не обессилел совсем. Вторая промоина Коротову показалась подозрительной: ровная очень и круглая. Он осмотрелся и приметил рядом с собой аккуратную и чистую от снега плешинку. До последнего снегопада лежал здесь камень, а потом скатился в реку. Камни сами собой не падают. Значит, кто-то его столкнул. Но о своей догадке Коротов Лясоте ничего не сказал. Разное говорили ему в лагере о Славке и Своеке: и жулики они, и душегубы. Но Коротов им не судья. Пусть их другие ловят и судят. Тот, кто рискнул пройти по непрочному льду, прошел около своей смерти и получил право жить.

В больнице Ковалева навестил Лясота. Положил на тумбочку кулек с гостинцами, оседлал табуретку, сказал значительно:

— Пирог Стеша сама пекла. Довез в целости и сохранности. Готов по счету сдать.

Ковалев набросился на Лясоту с расспросами. Лясота отвечал неторопливо и с присущей ему обстоятельностью.

Картина вырисовывалась такая.

В лагере забеспокоились только тогда, когда смена в урочный час не вернулась с лесосеки. Послали усиленный наряд. Полу-

замерзшие конвойцы сбивчиво рассказали о победе. Наряд кинулся в тайгу. Но засветло удалось встретить лишь разрозненную группу совслужащих, спешно возвращавшихся назад.

Это возвращение многих до времени успокоило. Посчитали, что и остальные поблудят по тайге, поголодают, намерзнут и повернут назад. На крайний случай, сводя старые счеты, кто-то кому-то намнет бока.

Но начальник лагеря вспомнил о пакете, в котором сообщалось о розыске двух опасных преступников, пошедших на отсидку с мелкой кражей, чтобы спрятать убийство. Возникло предположение, что эти двое и подняли лагерь. Тут уж забегали всерьез: поняли, что от смерти они кинутся к черту на рога. По тревоге подняли милицию города и всех окрестных сел.

Случайно возникшие преступные группы обычно лишены всякой устойчивости. Еда исчезает общая для всех опасностью, как начинается грызня за право командовать, за теплое место у костра, за лишний кусок хлеба. К старым распрям добавляются новые, и группа рассеивается. Так было и на этот раз.

«Сынки» у деревни Сухой Яр сначала схватились за топоры, но после первых же предупредительных выстрелов вздернули руки вверх. Вооруженные винтовками конвойцев Леня Кляч и Коля Сверчок долго отстреливались, забившись под стог. Сдались, когда кончились патроны.

— Чего народ баламутили? — спросили их.

— Так нам все равно добавлять некуда: оба на бессрочной. А пострелять интересно, — ответил Коля Сверчок.

В тайге поисковый отряд наткнулся на разномастную компанию мелкой шпаны. Эти даже не пытались убежать.

— Остальное я знаю, — хмуро перебил Лясоту Ковалев.

Лясота беспокойно закрипел табуреткой, заговорил быстро, заискивающе:

— Ты поверь, Степан, тебя я искал. Вдоль той дороги всю тайгу носом перепахал. Вернись?

— Верю.

Лясота заметно оживился. Сознание своей вины перед товарищем и для него, не знающего меры своей силы, было слишком тяжелой ношей. И вот эта вина снята одним словом.

— А вообще-то с тебя, Степа, магарыч причитается.

— Это за что? — насторожился Ковалев.

— Он еще спрашивает. А ногу тебе кто сберет? Я сберет. Совсем уж доктор назна-

мерился тебя укоротить. А я пообещал ему, что в тот же день самого его укорочу на целую голову. Подействовало.

Ковалев знал, что Лясота привирает. Вчера на обходе доктор, шлепнув Ковалева по плечу, сказал: «Быть бы тебе калекой, да, к счастью, сердце у тебя хорошей отливки. На две жизни тебе его хватит».

— А эти где?

Лясота понял, о ком спрашивает Ковалев.

— Коротов у нас. Начальство из лагеря его назад требует, а наши не отдают. Повинился Коротов нашим. И в район тот Се-ребряков уехал. Следовательно он молодой, но хваткий: разматает это дело со шкурками. А двое... Горой им надо было идти. Они же на речку сунулись с обрыва. Лед там хлипкий и ключи теплые бьют.

Ковалев закрыл глаза. Мертвыми он их представить не мог. Наверное потому, что не видел их мертвых. Зато отчетливо представился Свояк, хрипло всхрапывающий на лавке, смешно оттопырив припухлые губы, Славик, с ловкостью фокусника доставший из колоды все ту же крестовую даму. Злости к ним не было.

— Сам был?

— Участок-то наш с тобой. Как же не быть? И я был, и эксперт ученый, и начальство разное из города и из лагеря. Все разглядели. Труп того крупного парня багром выудили. А второго не нашли: течение, наверное, в сторону унесло.

— Надо было поискать. Славик — он верткий, как налим.

— У тайги хватка медвежья: не вывернешься, — сказал Лясота. — Ты вот давай не залеживайся тут. Слух прошел, на курсы нас с тобой в город берут.

Толчея санаторных окультуренных пляжей раздражала Ковалева. Он облюбывал для себя миниатюрную бухточку, надежно упрятавшуюся среди гранитных валунов. Вода в бухточке была удивительно зеленой и как бы слегка подогретой. Под камнями жили бойкие, ростом с пятачок, косоногие крабы. Вторжение Ковалева вызвало среди крабов изрядный переполох, но вскоре они привыкли к нему. Ковалев не обижал крабов и даже подкармливал их кусочками сушеной рыбы, которая во всех ларьках предлагалась к пиву.

Потом к Ковалеву присоединился геолог, работавший где-то на дальнем Севере. Три года кряду геолог мыкался в тайге, порядком, как он сам признался, одичал и теперь проходил ускоренные курсы рецивилиза-

ции. Но курортные снобы не прощали отсталости, и самолюбивый геолог скоро почувствовал это.

— Отстал от моды, — жаловался он Ковалеву. — Вы представляете ситуацию: мужчина даже в одних плавках может выглядеть старомодным! Берите меня в компанию.

Потом эта встреча...

Ночью штормило. Взбаламученное ветром море накидало в бухточку медуз, водорослей и прочей скользкой дряни. Купаться не манило. Ковалев и геолог, за несколько дней выложившие друг другу весь свой убогий запас анекдотов, терпеливо и молча обжаривались на солнце, закрутив на манер чалмы мохнатые полотенца.

Проходивший мимо мужчина, взглянув на Ковалева, остановился и сел на камень. Обыкновенный курортник. Светлый спортивный костюм, разлапистые туфли, напоминавшие лапти, сплетенные из толстых и тонких ремешков, дымчатые очки в дорожной оправе. Все это не кричало, а солидно свидетельствовало о незаурядном вкусе и состоятельности их хозяина. Мужчина, бог весть как сохранивший юношескую стройность фигуры, был уже не молод. Седина густо заплела голову, на щеках, несмотря на устоявшийся загар, проглядывали пятна склеротического румянца. Нижняя челюсть выдавалась вперед, образуя чуть приметную бульдожину.

Компанейский геолог, чтобы завязать новое знакомство, достал колоду потрепанных карт.

— Если вы не принимаете нас за местных жучков, то прошу придавить скуку традиционной пулькой. Грешен, признаться. В тайге ради этого удовольствия за полсотни верст в соседнюю партию на лыжах ходил.

Мужчина взял карты, небрежно, почти не глядя, перетасовал их и выбросил на песок пиковую десятку. Геолог машинально поднял ее.

— Как говорится: на все?

Геолог кивнул. Мужчина бросил на песок даму трэф и сразу за ней бубнового туза.

— В былые времена этот фокус назывался «дама вразрез». Вам не приходилось такое видеть, Степан Афанасьевич?

Ковалев упруго, сразу на ноги, поднялся. Он вспомнил избушку в глухой тайге. Среди ее обитателей был один, который вот так же выкидывал на стол даму трэф. И эта бульдожинка...

— Герцог?

Мужчина раскатисто, несколько нарочито расхохотался, снял дымчатые очки и церемонно представился:

— Вячеслав Степанович Горский, кандидат исторических наук. На приморском берегу по случаю печального наследия несколько безалаберной молодости. Стыдно признаться — хронический бронхит. А «Герцог», извините, ушел в отставку.

Ковалев почувствовал, как дернулась щека, а руки сами собой сжались в кулаки, крепко — не разжать. Второй раз неожиданно судьба свела его с этим человеком. И опять, как тогда, инициативой владеет не он.

— А вы тоже заметно сдали, Степан Афанасьевич. Я ведь за вами не первый день наблюдаю. Вот эти три полоски на щеке меня надушили. На всю жизнь, выходит, та лесная кошечка вас особыми приметам наградила. — Горский понимал, какую сумятицу чувств вызвал в душе Ковалева, хотя вместо простоватого деревенского парня, одетого в милицмейскую форму, сейчас перед ним был подполковник милиции, с умным волевым лицом.

— Документы предъявлять или сразу здороваться будем? Все-таки под одной крышей жили, из одного котла посятину жевали.

Ковалев, наконец, овладел собой. Тренированный ум профессионально быстро сделал необходимые логические выводы. Горский увидел и узнал его первым. Значит, он здесь не на легальном положении, иначе он просто уехал бы или постарался не встречаться с ним. На курорте то и другое нетрудно сделать. Но зачем он подошел? Продолжить сомнительное знакомство? Мало удовольствия. Еще раз проверить прочность своего нынешнего положения? Это ему вряд ли нужно. Тогда зачем?

— Признаться, довольно неожиданная встреча. Но рассказывайте. Очень любопытно.

Горский усмехнулся.

— Я ожидал иное предложение, Степан Афанасьевич. Случайно увидев вас на берегу, я тот час отправился за паспортом и без него — больше ни шагу. Но рассказать, поскольку встретились, пожалуй, надо. Только для начала один вопрос. Вам приходилось заглядывать в мой лагерный поименный список?

Ковалев кивнул.

— Тогда вы помните, что на мне ничего серьезного не числилось. Так, одни присутствия, которые можно было с известной натяжкой квалифицировать соучастиями. Да, молодо-зелено. Опасался по глупости. Поэтому и в побег пошел и врача в тот раз ожидать не стал. Первым на лед в тот день Свояк выскочил и сразу в промоину. Даже крикнуть не успел. А мне что было делать? Снял я лыжи, лег на них и на пузе перебрался через речку. Перед этим камень с обрыва столкнул, чтобы еще одну дырку сделать. В городе меня ждали. Одели, обули, деньгами снабдили. Работал на стройке в тайге. Институт закончил. После войны пришел с повинной. Народный суд за все прегрешения насчитал мне круглых пять лет. Но сидеть не пришлось, помиловали. Что было потом? Как пишут в газетах, растут заводы, растут и люди.

— Грач говорил о золоте, взятом на хуторе, — напомнил Ковалев.

— Моя доля в госбанке. Все сдал. И, представьте, не жалею. Еще вопросы будут?

Вопросов у Ковалева не было. Ни к чему были вопросы. Все, что рассказал Горский, было правдоподобно, но не было правдой. В этом Ковалев был уверен. В охотничьей избушке Славик не выглядел бесправным соучастником. Он не убивал, но это его злая воля заставляла убивать. Только доказать это уже невозможно. Грача расстреляли. Свояк утонул. Все грехи на них. Горский это отлично понимает. А подошел потому, что к острым ощущениям потянуло. Как был, так и остался позером. Его появление здесь, разговор, его разлапистые туфли — все это знакомая поза превосходства выдающейся личности над остальным серым миром, призванным кормить, одевать и развлекать критически мыслящую выдающуюся личность.

— Может быть, по рюмочке по случаю столь неожиданной встречи? — предложил Горский. — Расходы беру на себя.

— А стоит ли? — с вызовом спросил Ковалев. — Лично мне ваше восхождение не доставило удовольствия.

Горский вздернул голову, отчего стала заметнее его бульдожка. Он резко встал и ушел.



ПРОБЛЕМА?



ДА, ПРОБЛЕМА

Литература в школе — дело серьезное

Пожалуй, ни о чем так много не говорят в последние два года в школах, как о факультативах... Как бы за них взяться? С чего начать, как вести, как собрать из них школьников и как с ними работать?

С одной стороны, на последнем учительском съезде министр просвещения товарищ Прокофьев заявил, что факультативы по различным наукам в старших классах имеют огромное значение в борьбе против школярства, шаблонов, устаревших традиций — за перестройку средней школы в таком направлении, чтобы она полностью оправдывала свое назначение. Кстати, никто из тысяч учителей, присутствовавших на съезде, этого не оспорил.

А с другой стороны, приходится отметить, что как-то трудно, с большим скрипом прививаются в школах эти факультативы. По крайней мере — литературные. И это касается не только Новокузнецка. Один из преподавателей нашего пединститута во время проведения экзаменов среди учителей-заочников из многих районов области, да и не только одной Кемеровской, но и ряда других, побеседовал примерно с 70 преподавателями-студентами. И оказалось, что только в 16 школах прижились факультативы по литературе, да и то часть из них лишь носит громкое название, а по существу это обычный школьный урок для подтягивания отстающих.

Что же происходит? Неужели работники

Министерств просвещения СССР и РСФСР ошиблись, горячо и настойчиво рекомендуя школам нечто нежизненное, выдуманное, искусственное?

Сразу скажу: нет, не ошиблись. Дело предложено действительно огромное и высокозначимое. Выделены средства, отведены соответствующие часы занятий и не в какие-нибудь дополнительные часы, перегружающие школьников, а в часы самого учебного расписания.

Не знаю, как по другим наукам, а что касается литературы, то получены обширные, очень подробные программы для факультативов в 8—10 классах с подробным указанием проблем и писательских имен как русских, так и зарубежных.

Любой учитель знает, что уроков по литературе у нас явно недостаточно и что всякие дополнительные знания в этой области очень нужны учащимся. Никто еще не доказал, да и не сможет доказать, что школьники так перегружены знаниями по всем родам и видам искусства, что им больше ничего не требуется.

А между тем, уроки по литературе мало интересуют учащихся, не вызывают достаточного эстетического отклика, часто проходят при равнодушном отношении школьников. Больше интереса вызывают сочинения на темы искусства и гораздо меньше — изучение писательских имен, даже великих. И если искать главное объяснение этому

факту, то он заключается не в том, что сами учителя скучно ведут занятия, а в том, что по давно сложившимся условиям на многих уроках собственно литература подменяется социологией и историей, а само художественное творчество привлекается преимущественно как иллюстрация. Винить тут учителей не приходится — так строились программы, так, идя вслед за программами и методическими указаниями, контролировали и наставляли учителей завучи, директора школ и, главным образом, инспектора отделов народного образования.

Сколько в свое время было сказано слов о необходимости творческого преподавания литературы, а ведь использование ее как своеобразного придатка к социологии и истории все еще остается!

Неверно было бы думать, что кто-либо из учителей недооценивает эти науки. Они чрезвычайно важны. Но ведь литература тоже форма общественного познания, а не собрание иллюстраций к наукам, она сама по себе явление общественное, в ней самой заключены высокая политика и философия, входящие в одно справедливое горьковское определение — «искусство — человековедение». И философско-политическую сущность литературы надо открывать, показывать, не теряя художественного аромата и вкуса, уметь связать эстетику с общественными проблемами, но так связать, чтобы ничего не было потеряно ни от содержания, ни от формы произведения.

Это, конечно, очень трудно. Гораздо легче перевести урок на рельсы социологических и исторических выводов. И тогда от учащихся требуют ответа на вопрос, очень хорошо знакомый всем учителям-словесникам, на вопрос, освещенный многолетними методическими указаниями: «каково различие между помещным и столичным дворянством по роману Л. Толстого «Война и мир»?

Обратите внимание: важно выяснить не само содержание романа, а только привлечь его к решению вопроса о различных категориях дворянства. Различие, конечно, есть, но причем тут произведения Льва Толстого! Неужели нет других путей и способов, чтобы решить такой вопрос? Разве для этого написан величайший, мировой памятник русского искусства, разве с помощью такого вопроса будет понятно обаяние прелестной Наташи Ростовой, благородство и мужество Андрея Болконского, мудрость, глубина стратегических и тактических планов Михаила Кутузова?

И к тому же столь популярный в школах вопрос толкает школьника на совершенно

неверный ответ даже с уважаемой социологической точки зрения. Ему приходится объяснять то, что видом не видывал, слыхом не слыхивал сам Толстой, о чем он вовсе и не думал, когда писал роман. Школьнику приходится объяснять учителю, что помещное дворянство гораздо лучше столичного, поскольку оно ближе стоит к народу и что оттуда произошла Наташа Ростова с ее демократизмом и желанием отдать подводы под раненых солдат. А вот столичное дворянство насквозь прогнило и разложилось, поэтому оно и породило негодяя Анатолия Курагина.

Социология получается похожей на детский лепет. Социологическая схема дифференциации дворянства сразу рассыпается, если поставить такой вопрос: ну, а какие дворяне сам полководец Михаил Кутузов или Пьер Безухов?

И сколько таких «проблем» — унылых, скучных, явно придуманных — изучается и решается на уроках литературы вплоть до наших дней: «Международное положение СССР в период создания романа «Как закалялась сталь», «Лермонтов — обличитель крепостничества», «В чем проявляется феодализм Кутузова?», «Как Лев Толстой оценивает самовлюбленность Наполеона?» и т. д.

Но и без подмены литературы социологией и историей у нас еще хватает формализма, попыток антиэстетического осмысления литературных явлений.

Один учитель втолковывает школьникам буквально десятки признаков социалистического реализма и даже их нумерует, создавая своеобразную литературную математику. Другой таким же приемом требует по порядку перечислить основные черты характера Павла Корчагина, причем «смелость» и «отвагу» он синонимами не считает. Третий (а таких пока больше всего) любое произведение разбирает по единой схеме: «Ребята, сначала выясним идею произведения». «Ребята, теперь перечислим черты, свойства основных характеров героев». «Ребята, теперь перейдем к изучению языка». При этом забывается, что такое механическое разобщение элементов художественного произведения разрушает его монолитность, единство образа, идеи и напоминает эксперимент ребенка, который, поймав жука, отрывает ему сначала лапки, потом крылья, затем и голову.

Вот почему не приходится винить школьников, не очень-то жалующих такой, казалось бы, увлекательный предмет, как литература. Для него познакомиться с Чеховым или Алексеем Толстым — значит «прорабо-

тать» их. Такое обозначение распространено повсюду, и в нем очень большой и огорчительный смысл: литература оказывается не источником красоты и наслаждения, не источником изучения судеб героев и судеб государств и наций, а орудием «проработки».

Школьники не виноваты. Но можно смело сказать, что не виноваты и учителя. Их так учили, так от них требовали. А помимо этого есть ряд других серьезных причин, по которым даже способный, инициативный учитель далеко не всегда может дать творческий урок, даже если ему не мешают плохие методисты и контролеры.

Всякий урок требует от учителя для его подготовки очень много сил и внимания. Факультатив, ориентирующийся на широкое и глубокое образование школьника, предполагающий даже привитие первых навыков к исследовательской работе, удесятерит ответственность педагога. Чтобы вас добровольно слушали, добровольно с вами работали, вы должны быть во всеоружии. На это нужно время и еще раз время.

А общеизвестно, как загружен учитель своей повседневной работой, как ему трудно выбрать время для факультатива. Ведь это не повторение когда-то разработанного урока, проверенного годами и немного обновляемого, это — глубокая проблема, не терпящая никакого дилетантства. Она ведет учителя к научно-исследовательским изысканиям. Однако абсолютному большинству учителей не дано такого времени, и даже полагающийся ему по закону один свободный день в неделю большинство школьных работников не получает.

И тут ничего не зависит от высоких министерских инстанций. Нужное время могут выделить сами школы, если у руководителей будет правильное представление об огромной трудоемкости работы учителя, связанной с организацией и проведением факультатива. Но директора и завучи по традиции, связанной с проведением обычных уроков, думают, что учитель всегда должен быть «на коне», каждодневно обязан быть готов к каждому уроку, в том числе и факультативному. Вот характерный пример.

Директор одной из школ спрашивает учителя:

— У вас в программе есть Ильф и Петров. Почему не проведена эта тема? Это же очень интересно школьникам — «Двенадцать стульев», «Золотой теленок».

— Я не готова, — отвечает учительница. — Очень сложная тема. Мне нужно несколько месяцев.

— Ну, уж это слишком. Что-то ведь у вас есть, вот и проведите как можете.

Факультатив невозможно проводить по принципу «как можете». Его можно вести только по одному принципу — «как должно».

Учительница не стала спорить с директором, но про себя подумала: «Конечно, трудно школьникам объяснить, что Остап Бендер — жулик и пройдоха. Совсем легко пересказать содержание романов и по школьному проанализировать сначала идею, потом образы-характеры, потом все остальное. Но чем это будет отличаться от обыкновенного и скучноватого урока? Как донести до школьников юмор писателей, его своеобразие, то сложное впечатление, которое порождает Остап, то чувство невольной симпатии, которое к нему испытываешь? Разве десятиклассник не взрослый человек, думающий самостоятельно? Нет, тут надо поднимать общую проблему сатиры и юмора, познакомить ребят с тем, что у двух соотрудничавших вместе писателей были дальние и ближние предшественники, такие как Аристофан, Лесаг, Рабле, Гоголь, Салтыков-Щедрин, а позже — Аверченко, А. Зорич, Михаил Кольцов, Зошенко. Тут уж надо не просто учить, а открывать просторы культурного и эстетического кругозора, давать серьезные познания».

Такими мыслями учительница поделилась с другой, а та с законной горечью сказала:

— Эх, матушка, куда хватила! Нашему теляти да волка поймать. Все мы мечтаем о большом, а школьные тетради да множество будничных дел держат нас за крылья.

А вот пример еще более горестный, показывающий, как успешный начин в большом творческом деле пришел к гибели, потому что его хотели уравнивать административно с привычным ходом вещей, не учтя того, что факультатив требует поисков, риска, не застрахован от просчетов.

В одной из школ нашего города молодой учитель горячо взялся за организацию и проведение факультатива. Он читал ребятам советскую литературу, в том числе Маяковского и Леонова, рассказывал подробно на нескольких занятиях о современной поэзии. На его занятиях присутствовали не только школьники, но и учителя. Школьники опубликовали в городской газете благодарственное письмо за инициативу и огромный труд учителя.

Но в самой школе, одобряя начин учителя, по привычке пытались приравнять факультатив к обычным урокам — потребовали вести бдительную регистрацию посещающих и выставлять отметки. Но это еще полбеды. В школу пришла, по поручению районо, учительница-обследователь со спе-

пийальным заданием оценить работу факультатива. Ей полагалось бы знать, что даже если и были ошибки, недоделки, то они вполне естественны в новом деле. А она отметила, что все не так, что учитель слишком много берет на себя, мало поручает школьникам, а, главное, не осуществляет «достаточного научного подхода» к теме. Учитель решил поучиться и пошел на факультативные занятия к своей обследовательнице. С глубоким разочарованием он убедился, что у нее самой нет ничего творческого, что проводила она самый обычный урок с вопросно-ответной системой, добиваясь, чтобы школьники вразумительно ответили: из каких черт у Тургенева складывается характер Базарова. Учительница, правда, извинилась, что не имела возможности как следует подготовиться.

И все-таки ей не пришлось в голову, что критиковать всегда легче, чем делать, и что ее посещение неизбежно вызовет ряд последствий. Акт ее поступил в районо, там стали думать, как бы улучшить факультатив и внушить учителю, чтобы он пронизывал его «научностью». А учитель отказался от факультатива:

— Зачем он мне, — сказал он. — Месяц к теме готовишься, мороки-то сколько. У меня и так полная ставка есть, заработка мне не нужны.

Можно, конечно, пожалеть, что учитель обиделся. И гораздо больше нужно пожалеть о загубленном начинании. Поинтересовавшись недостатками, обследователь и районо не поинтересовались самым важным: факультатив работал, и очень неплохо. Интересно не только то, что школьники выступали на нем со своими сообщениями, что уже само по себе очень ценно. Факультатив резко повысил литературные интересы в школе. Стали выступать ребята со своими стихами, устроили несколько литературных вечеров, посвятив один из них поэтам Новокузнецка.

Нет, я горячая сторонница литературных факультативов и, обосновывая правоту своего убеждения, могу сослаться и на ту школу, в которой работаю.

Факультатив тут живет и здравствует, набирает силы, хотя из этого вовсе не следует, что в нем всегда все ладно. Бывают удачи, но бывают и посредственные занятия. И хотя он окреп еще в малой степени, результаты стали сказываться очень быстро. Появились тещи, декламаторы, авторы первых, пусть не всегда удачных, произведений. И когда, помимо всего другого была поставлена тема «Писатели Кузбасса», у

школьников появилась «дерзкая» мысль — встретиться с писателями области, с творчеством которых они познакомились. Школьники попросили приехать писателей из областного центра, авторов Новокузнецка. То было крупное и именно литературное событие в школе.

Конечно, трудно взвесить на весах, какую пользу в итоге получила школа, но я уверена: какая она ни была, из памяти школьников она никогда не выветрится.

Литературный факультатив — большое творческое дело, от которого выигрывает эстетический кругозор и в целом культурный уровень школьников. Не надо бояться неудач и срывов первых лет, надо лишь шире открыть дорогу новому начинанию.

Главное — снять с пути факультатива стремление приравнивать их к обычным школьным занятиям. Не надо мешать поискам, благородному риску, творческим дерзаниям самих учителей. На рельсах казенщины, административного давления, желания свести все к шаблону факультатива не организуешь.

Рекомендуя конкретные программы, министерство само подчеркивало, что учителю предоставляется право выбора, добавлений, изменений, применительно к его знаниям и влечениям. А мы все принимаем как обязательное, стремимся нормировать, поставить в узкие рамки. Не надо бояться того, что школьники многое принимают и хотят представить по-своему. Я лично не удивилась тому, что, знакомясь с Пушкиным, десятиклассники захотели ближе узнать Чайковского. И даже не удивило меня другое обстоятельство: послушать они захотели не «Пиковую даму», а в первую очередь «Итальянское каприччио». Ну и пусть знакомятся, хотя и отдаляясь от прямой темы, и это пойдет им на пользу. Обязательно надо считаться с тем, что просят школьники, и дать просимое тонко, умно, квалифицированно.

Я намеренно не называю школ и фамилий. Сейчас важно не осуждать кого-то, не «прорабатывать». Важно увидеть общие слабости и просчеты, устранить их, дать «зеленую улицу» новому, интересному. Что же касается недостатков, указанных выше, и их причин, пусть над этим подумают все, кто имеет отношение к идейно-эстетическому воспитанию школьной молодежи.

*В. ГРИГОРЬЕВА, учительница
русского языка и литературы
57-й средней школы
г. Новокузнецка*



Г. А. МАЧТЕТ В СИБИРСКОЙ ССЫЛКЕ

После победы Великой Октябрьской социалистической революции, 22 декабря 1917 г., согласно принятому ЦИК Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов декрету, среди русских поэтов, писателей и критиков, произведения которых должны быть изданы в первую очередь, стояло имя Г. А. Мачтета.

Григорий Александрович Мачтет известен не только как писатель, но и как активный участник народнического движения. В его произведениях запечатлены многие картины революционного народнического движения, а стихотворение «Последнее «прости», ставшее впоследствии гимном русских революционеров, превратилось в народную песню «Замучен тяжелой неволей». Эту песню очень любил В. И. Ленин.

Среди писателей-народовольцев личность Г. А. Мачтета одна из примечательных. Г. А. Мачтет был сторонником и участником земледельческих коммун в Каменец-Подольской губернии, а когда эта затея не удалась, отправился с целью их организации вместе с народником Романовским и Речицким в Америку. В Америке эта идея также не осуществилась, и Г. А. Мачтет через два года вернулся в Россию.

По возвращении на родину он целиком ушел в подпольную работу. Г. А. Мачтет вступил в группу Ореста Габеля, которая занималась организацией побегов арестованных революционеров из дома предварительного заключения. Группа эта была раскрыта в августе 1876 г., ее участников арестовали.

Участие Г. А. Мачтета в подпольной ор-

ганизации не было точно доказано, и он, после полугодового заключения в Петропавловской крепости, был выслан в Архангельскую губернию на место «постоянного жительства» — в г. Шенкурск.

Оттуда Г. А. Мачтет попытался бежать, но побег не удался. После разбора дела о побеге был вынесен приговор о высылке Мачтета в Восточную Сибирь, замененной потом ссылкой в Тобольскую губернию.

В сибирской ссылке Г. А. Мачтет пробыл шесть лет.

Суровый режим ссылки подточил здоровье Мачтета, но не угасил в нем писательского таланта и веры в идеи революционного народничества. Далекий от идей пролетарской революции, Г. А. Мачтет предчувствовал: «Что скоро из наших костей поднимется мститель суровый и будет он нас посильней».

Сибирский период жизни Г. А. Мачтета изучен мало.

Дело Г. Мачтета о высылке в Тобольскую губернию началось 16 мая 1879 г., а 15 мая из III отделения было отослано донесение Тобольскому губернатору и губерйскому жандармскому управлению. Вот оно.

15 мая 1879 г.

Секретно.

Господину тобольскому губернатору.

«По соглашению с Главным начальником III отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, состоявший в

г. Шенкурске под надзором полиции, бывший учитель, дворянин Григорий Мачтет за побег из места высылки предназначен был на основании 3-го пункта Высочайше утвержденного 9 августа минувшего года положения к высылке, на жительство в Якутскую область.

Ныне, по всеподданнейшему Главным начальником III отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии доклада, Государь Император Всемилостливейше соизволил на смягчение участи содержавшегося в Вышневолоцкой тюрьме политического ссыльного дворянина Григория Мачтета высылкою его в один из южных городов Западной Сибири вместо определенного ему водворения в Якутской области.

О таковом Высочайшем повелении, сообщенном г. Генерал-губернатору Западной Сибири Министром Внутренних дел от 21 марта с. г. за № 977 и им же объявленном Генерал-губернатору Восточной Сибири и начальником Тверской губернии и Якутской области имею честь уведомить Ваше Превосходительство и, согласно назначению Его Высокопревосходительства..., покорнейше просить Вас, по прибытии Мачтета в Тюмень, поселить его в г. Тюкалинске Тобольской губернии».

По этапу из Вышневолоцкой тюрьмы Г. А. Мачтет прибыл в Тюмень 4 июня 1879 г., а 28 июня под конвоем фельдфебеля был препровожден в Тюкалинск. Перед отправкой к месту ссылки в деле Мачтета была сделана приписка «должен следовать под строгим присмотром», то есть закованным в кандалы. По социальному происхождению и образованию Г. А. Мачтет мог быть освобожден от кандалов, но документы об образовании были изъяты при аресте в Петербурге и утеряны. И только из-за слабого здоровья, по настоянию тюремного врача, кандалы с него были сняты.

1 июля 1879 г. Г. А. Мачтет прибыл в Тюкалинск. «Город наш окружен болотами и лежит в одной из самых нездоровых местностей, в так называемой Ишимской степи, — писал в сентябре Г. А. Мачтет своей сестре. ...— Пролежал две недели в лихорадке с ужасными головными болями. Здесь есть одно удобство — кумыс, который бы для меня много значил, если бы я мог его пить, но «видит око, да зуб неймет!» Нет абсолютно никаких заработков. Правда, такая же безработица была моим уделом в Шенкурске, но зато там я получал пособие по восьми рублей пятнадцать копеек каждый месяц... Тут же, в Сибири, никому не дают из нас пособия, и поэтому я и ожи-

даю отказа под каким-нибудь предлогом. Теперь прошу тебя представить себе мое положение. Я, как все люди, нуждаюсь в пище, крове и платье. Я не арестант и не каторжник, чтобы получать казенную пищу, — нужно, следовательно, припасать самому... Но чем же и как припасать?..».

В записке об одежде и обуви арестанта Григория Мачтета значилось: «шапка — 1, армяк серого фабричного сукна — 1, рубаха из холста рубашечного — 2, порты — 2, коты — 1, портянок — 1, мешок — 1. Собственных денег 56 руб. 51 коп.». Конечно, при такой материальной обеспеченности трудно было вести нормальный образ жизни в тяжелой ссылке.

Не раз обращался Мачтет с просьбой о выдаче ему казенного пособия. Несмотря на неоднократные прошения ссыльного и рапорты Тюкалинского исправника, что Мачтет «жизнь ведет скромную, определенных занятий не имеет, средств никаких ни откуда еще не получал, а проживал на высланные вместе с ним собственные его деньги 56 руб. 51 коп.», в выдаче денежного пособия было отказано с той мотивировкой, что им с собою были взяты деньги, многим ссыльным помогают родственники и ассигнования для ссыльных отпускаются на год, а он прожил всего лишь несколько месяцев. О том, как тянулись дни томительного бездействия и нужды в Тюкалинске, Г. А. Мачтет описал в рассказе «Хроника одного дня в местах не столь отдаленных».

«Увы, я проснулся! Опухшими от долгого сна глазами я вглядывалось в полумрак крохотной, почерневшей от времени горенки и протяжно и долго зеваю... Со двора доносится голос «жизни»: чирикание влюбленных воробьев, амурное кудахтающее кур и чья-то невозможная, пьяная ругань... «Есть!» — шевелится в голове... «Есть!» — щемит в желудке... «Есть!» — настоятельно требует весь организм».

В Тюкалинске Г. А. Мачтет прожил почти год. Здесь он занимался литературной деятельностью (по-видимому, в конце 1879 г. им был начат цикл «Рассказы о сибирской жизни»), много читал, о чем свидетельствует рапорт Тюкалинского исправника о получении Г. А. Мачтетом ряда журналов, познакомился с ссыльным, в частности с поляком Волховским, сосланным по «делу ста девяносто трех». С ним он поддерживал связь и после выезда из Тюкалинска.

Занятия литературной деятельностью и связь с близкими по идейным взглядам товарищами несколько скрашивали жизнь Мачтета. Утешением и радостью в его не-

легкой жизни были письма и близость Елены Петровны Медведевой, отбывавшей ссылку в Ишиме по «делу пятидесяти». С Е. П. Медведевой Мачтет познакомился в Цюрихе, где жил некоторое время перед



Г. А. Мачтет

отъездом в Америку. Елена Петровна, по отзывам знавших ее, была женщиной высокой нравственной силы, душевной чистоты и обаяния. В сибирской ссылке они полюбили друг друга и решили вступить в брак.

Прошения Г. А. Мачтета и рапорт Тюкалинского исправника на разрешение брака были поданы 18 октября 1879 г. 19 октября было подано такое же прошение Е. П. Медведевой и рапорт Ишимского исправника Тобольскому губернатору. Разрешение на их брак затянулось надолго. В деле Г. А. Мачтета не оказалось документов о его семейном положении. На розыски их были посланы запросы в Тверь, Волынь, Каменец-Подольск, Киев, Петербург. Ответы на некоторые из них были получены спустя более чем полгода.

Наконец, 26 марта 1880 г. в Главном Управлении Западной Сибири, находившемся в Омске, вопрос о браке Григория Алексан-

дровича Мачтета с Еленой Петровной был разрешен положительно. Рекомендован был перевод Г. А. Мачтета в Ишим «во внимание к выраженным Мачтетом чувствам и засвидетельствованию местным начальством об одобрительном поведении как Григория Мачтета, так и Елены Медведевой, а также имея в виду, что в г. Ишиме, при постоянном пребывании там офицера корпуса жандармов, чего в Тюкалинске нет, более возможен бдительный за политическими сыльными надзор...».

18 мая 1880 г. под конвоем двух жандармских унтер-офицеров Г. А. Мачтет был отправлен в Ишим, куда прибыл на следующий день.

Жизнь Мачтета в Ишиме в материальном отношении была не легче, чем в Тюкалинске. Болезнь Елены Петровны (она была больна туберкулезом легких) требовала еще больше материальных затрат, а взять их было неоткуда.

На многочисленные просьбы Григория Александровича и Елены Петровны о получении казенного пособия ответом был отказ. Отказано было им и в преподавательской деятельности.

Летом 1880 г. Григорию Александровичу удалось устроиться сторожем на складе купца Трусова, за что он получал только сырой уголь и скудный обед. Полным лицемерия выглядит ответ Ишимского исправника 27 октября 1880 г. на запрос губернатора о необходимости довольствия Мачтету. «...Мачтет образ жизни ведет скромный, поведения хорошего, в предосудительном ни в чем замечен не был, в настоящее время Мачтет занимает должность подвального при складе купца Трусова с хорошим содержанием и готовой квартирой, вообще при настоящей должности Мачтет может жить безбедно, а ввиду этого не представляется нужным назначить Мачтету пособие от казны».

В должности подвального у купца Трусова Г. А. Мачтет проработал около года. 6 февраля 1884 года из Главного Жандармского Управления Западной Сибири было отправлено Тобольскому губернатору письмо, в котором указывалось, что приговором Архангельской палаты Уголовного и Гражданского Суда 25 июня 1879 г. Г. А. Мачтет за побег из места, назначенного ему для жительства, и за оскорбление полицейского Сметанина должен быть подвергнут аресту на два месяца. Это решение Архангельского Суда вследствие высылки Мачтета в Сибирь не было исполнено. Предписывалось провести этот приговор в исполнение.

Но тюремный арест Г. А. Мачтета, вынесенный Архангельской Судебной Палатой, не мог быть приведен в исполнение вследствие болезни самого Мачтета и его жены, которая не могла обходиться без посторонней помощи. После пересмотра этого приговора в Архангельской Судебной Палате в начале июня 1881 г., было вынесено решение об исполнении ареста при квартире. Домашний арест был проведен в течение августа и сентября под конвоем одного полицейского.

Оставшись без материальных средств к жизни Мачтет был вынужден вновь просить денежного пособия в письмах и в личной встрече с губернатором при проезде его через Ишим. На этот раз ходатайство Мачтета было удовлетворено, ему было выдано денежное пособие в размере, установленном для поднадзорных привилегированных сословий, а его жене, сосланной в Сибирь по суду с лишением прав — в размерах арестантской дачи и по 1 руб. 50 коп. в месяц на наем квартиры.

Однако это пособие могло лишь в малой степени удовлетворить даже необходимые жизненные запросы. Г. А. Мачтет обращается повторно с прошением разрешить ему преподавание уроков в частных домах. Он прекрасно владел двумя языками (немецким и английским), был учителем истории и географии в Каменец-Подольском училище (1870—1872 гг.).

На прошение Мачтета губернатор потребовал рапорт от ишимского исправника о его поведении и образе жизни. Тот ответил, что «бывший учитель Григорий Мачтет действительно нуждается в материальных средствах к существованию и получаемое им пособие от казны по случаю дороговизны не может удовлетворять даже необходимым потребностям. Внешние стороны жизни и поведение Мачтета заслуживают одобрения, но убеждения и идеи его, судя по отношению его к полиции, доказывают, что он враждебно смотрит вообще на существующий порядок управления, не может хладнокровно выносить лишений, которые сопряжены с жизнью ссыльного, и не желает подчиняться участи. По сему я не ручаюсь за Мачтета, что он не будет проводить непопулярных мыслей при пользовании разрешенным ему правам преподавания уроков в частных домах, с своей стороны, не решаюсь признать возможным удовлетворения его ходатайства».

Вполне ясно, что после такого рапорта разрешения на право преподавания Мачтет не получил.

В секретном донесении генерал-губерна-

тору Западной Сибири жандармское управление также сообщало, что в «нравственном и политическом отношении Мачтет несколько не исправился», что «он вообще вредно смотрит на существующий порядок».

В Ишиме Мачтет был в тесной связи с политическими ссыльными Рудневыми, Гуревичами, Ф. Римневичем, писателем Сведенцовым, устанавливает связь с революционным подпольем и ссыльными других городов Сибири.

Письма Г. А. Мачтета и его жены подвергались строгой цензуре. 11 марта 1882 г. Тобольский губернатор доносил в Западно-Сибирское жандармское управление, что в Ишиме было задержано письмо, адресованное Мачтетом в Тюкалинск ссыльному Феликсу Волховскому, где между строками, писанными обычными чернилами, есть химическое письмо. В этом письме Мачтет спрашивал Волховского: «получили ли Вы мое письмо, посланное в январе месяце, высланное в ответ на Ваше, и где я писал шифром... В Томске арестованы Субботина мать, Пospelов и Орлов, у которого найдены книги и паспорта Мирова и все прочие. Кроме того, много лиц арестовано в Тюмени. Все это, как сообщено, явилось следствием арестов в Казани студентов из томских гимназистов. Уведомите немедленно о получении, теперь строго следят за перепиской».

До конца ссылки Мачтету оставалось несколько месяцев, но этот случай удлинил ее. 1 мая 1882 г. особое совещание департамента государственной полиции постановило оставить его под надзором полиции еще на три года.

Спустя полгода начальник жандармского управления доносил губернатору, что Григорий Мачтет преподавал уроки детям помощника акцизного надзирателя Малиновского, который сближается с политическими ссыльными. По этому поводу был произведен допрос Мачтета и Малиновского. Как первый, так и второй отрицали этот факт. Ишимский исправник доносил губернатору, что если Мачтет и бывает у Малиновского каждодневно, то потому, что занимается переписыванием бумаг, получая вознаграждение по 4 рубля в месяц. С Малиновского были взяты подписки, что обучение своих детей он не доверит политическим ссыльным. Однако 3 мая 1883 г. начальник жандармского управления вновь сообщил, что Малиновский вошел в знакомство с политическими ссыльными Мачтетом, И. Гуревичем и их женами, а также со Сведенцовым и Римневичем, и что Мач-

тет вновь преподает уроки детям Малиновского. Очевидно, Мачтет занимался обучением детей Малиновского, но фактически доказать этого жандармам не удалось.

В Ишимской ссылке Мачтет напряженно и много работал. Он выступал с очерками на страницах «Сибирской газеты», с рассказами в журналах «Неделя», «Отечественные записки», «Наблюдатель». Им были написаны рассказы из сибирской жизни: «Мирское дело», «Вторая правда», «Сон одного заседателя», «Мы победили», повесть «Блудный сын», роман «Из невозвратного прошлого», позже названный писателем «И один в поле воин».

В произведениях Мачтета выявляются народнические взгляды писателя: идеализация крестьянского мира и крестьянина, как носителя обиженного сознания «мирской правды». Вместе с тем в них описаны признаки проникающего в деревню капитализма, даже в таком глухом округе, как Тобольский. Сибирские рассказы принесли популярность писателю. Критик А. Скабичевский неоднократно выступал по поводу сибирских рассказов, указывая, что... «Эти очерки не только замечательны по своему содержанию, но и в художественном отношении безукоризненны». ...«Очерки полны глубокой правды и художественности,... не представляют никакого сомнения, что автор в этих очерках ничего не сочиняет и бесхитростно изображает то, что видел и слышал» (Скабичевский, История новейшей литературы, Сиб., 1893, изд. II).

Здоровье Мачтета в сибирской ссылке, несмотря на его молодость, было подорвано, но ни болезни, ни тяжелые жизненные условия ссылки не могли сломить его духа. Он до конца остался верен своим политическим убеждениям.

В деле жены Г. А. Мачтета 17 августа

1885 г. жандармское управление доносило генерал-губернатору: «В отношении поведения Елены Мачтет за время состояния в г. Ишиме под гласным надзором полиции, с 16 сентября 1878 г., имеются сведения, что она была привлекаема к ответственности два раза в 1884 году: 1-е за участие вместе с мужем и другими политическими ссыльными в составлении и подписании коллективного письма в колонии таковых же ссыльных в г. Ялуторовске, но дело по этому предмету, как видно из сообщения Тобольского губернского прокурора от 9 февраля сего года, по соглашению гг. Министров Внутренних дел и Юстиции дальнейшим производством прекращено; и 2-е, за самовольную отлучку из г. Ишим 14 мая 1884 г. для проводов отправившейся из этого города бывшей политической ссыльной Гисс и состоявшей под негласным надзором Варвары Линьковой...».

Коллективное письмо ссыльных Ишима из Ялуторовска являлось протестом против тяжелых условий сибирской ссылки, в нем правдиво изображена жизнь политических ссыльных, обреченных на долгие годы политического бездействия и материальные нужды. Только поэтому никаких репрессивных мер против его составителей не было принято.

В сентябре 1884 г. срок гласного надзора Мачтета истек. Но выехать из Сибири он сразу не смог: резко ухудшилось здоровье Елены Петровны и на отъезд не было денег. Лишь к осени 1885 г., давая ежедневно уроки и работая писарем Ишимского окружного присутствия по крестьянским вопросам, он скопил необходимые для отъезда и рассчитанные до копейки триста рублей.

18 августа 1885 г. Мачтет выехал в Европу.

С. Торбонов

ШОР- КИЖИ*

Помню, в детстве, играя с ребятами на берегу речки Кандаленки, мы частенько находили округлые, похожие на лепешки и тронутые ржавчиной тяжелые камни. Тогда я не знал еще, что это вовсе не камни, а «тебир-поктары» — остатки шлаков древних плавильных печей, живая встреча с кузнечным искусством моих предков, которые несколько столетий назад плавил железо и делали из него наконецники стрел, мотыги, топоры, ножи, всевозможную хозяйственную утварь. А когда, подросток, узнал, то стал расспрашивать стариков, внимательно прислушиваться к легендам и преданиям, извлекая из них крупинцы подлинной истории моего народа. С тех пор история шорцев стала неотъемлемой частью всей моей жизни.

До 1925 года, когда постановлением советского правительства был образован национальный Горно-Шорский район, нас называли кузнецкими татарами, имея, вероятно, в виду ремесло наших предков, или, — как телеутов и кумандинцев, — просто туземцами. А шорцами стали мы зваться по имени самого большого рода «Шор».

Прежде шорцы жили родами-чонами. Северную часть Шории «поделили» меж собой Барсияе чону, Бежбаяк чону, Абалар чону, Табыска чону, южную — Калар чону, Шор чону, Кызай чону и другие. Несколько родов-чонов облюбовали себе низовья реки Мрассу.

Во главе каждого чона стоял паштык — управляющий, избираемый на сходке мужчинами не моложе восемнадцати лет. Женщины к выборам не допускались.

* К и ж и — человек (шорск.)

Немалый интерес представляет сам ход выборов. Каждый из собравшихся подходил к кандидату на должность паштыка, дотрагивался до него рукой, одобряя таким образом выбор, или хватал его за правую руку и сильно хлопал по плечу. Кандидат как бы старался убеждать от таких «ласк», но его крепко, весело хохоча, держали несколько сильных парней. И тогда, будто бы уступая воле народа, кандидат «смирался» и принимал на себя обязанности паштыка.

Вероятно, отсюда и пошло слово «тударга» — «держать», а не выбирать. И по сию пору в дни выборов у нас говорят: «в Со-веке тударга» — не избирать, а держать Советскую власть.

Разумеется, при выдвижении кандидатов на должность паштыка разгоралась настоящая борьба между байской верхушкой и бедняцко-средняцкой частью населения. И чаще всего избирали середняка, чтоб никому не было обидно. Так, на моей памяти, паштыком Барсиятского чона был избран середняк Павел Малышев, а паштыком Бежбаяковского чона — середняк Егор Тайбичаков. Они были последними паштыками. Столыпинская реформа, направленная на ликвидацию общинного крестьянства, положила начало распаду чонов, росту кулачества и обнищанию основной части населения.

Преступников, кстати сказать, судил сам народ на общем собрании — сходке. Основной формой наказания была порка сырыми прутьями. Чем тяжелее вина, тем больше прутьев. Но бывали случаи, когда сход при-суждал виновного к тюремному заключению или высылке из родных краев, за пределы губернии. Решение схода было окончательным.

Тех же, кто совершал особенно тяжкие преступления, как-то убийство, грабеж, насилие, судили три паштыка из соседних чонов. Приговор тогда посылался на утверждение в мировой, уездный суд, и не было случая, чтобы мировой судья не утвердил решения паштыков.

Все это было сравнительно недавно, каких-нибудь пятьдесят—сто лет тому назад. Отдаленные же наши предки вели, в основном, кочевой образ жизни. Зимовали в горах, потому что зимой на возвышенности теплее, чем в низине, а летом спускались в долины рек и речушек. Жили в шалашах. Зимой охотились, а летом занимались рыбной ловлей, собирали и сушили кандык, саранку и другие съедобные растения и корни.

Те, кто жил на юге Шории, с давних вре-

мен научились раскорчевывать тайгу и обрабатывать землю. Орудиями труда были мотыги да деревянные грабли, но и с их помощью, тщательно и заботливо ухаживая за ростками пшеницы, ячменя, овса, удавалось собирать неплохие урожаи. Каждый колосок бережно выдергивался с корнем. Колоски связывались в небольшие снопики, которые подвешивались затем на жерди для сушки.

Скотоводством шорцы не занимались, хотя и знали названия почти всех домашних животных. «Не корми ребенка молоком. Разве молоко для ребенка пища?» — говорили в одной из шорских легенд.

Вплоть до Октябрьской революции, — а в отделенных улусах даже и в первые годы советской власти, — покойников не зарывали в землю, а в гробах или просто завернутыми в бересту подвешивали к крепким сучьям деревьев. Гробы выдалбливали из кедра, сосны, ели, а снаружи обтесывали.

Шорцы верили в чистого духа Улгена и злого духа Эрлика. Улген, как и русский бог, находился на небе, а злодей Эрлик — в подземном царстве. Улген даровал счастье и жизнь. Эрлик напускал на людей несчастья и болезни. Возможно, потому и покойника подвешивали на дерево, чтобы он не попал в лапы к злому Эрлику. Пусть лучше возьмет его к себе достославный Улген.

При принятии христианской религии шорцы стали двоеверцами. Исполняли христианские обряды, но не забывали и своего Улгена-хана. В случае какого-нибудь несчастья, призвав шамана-кама, обращались за помощью не ко Христу, а к своему старому знакомому.

Новый год отмечался шорцами весной.

Я хорошо помню, как в детстве, лишь только прогремят раскаты первого грома, все жители улуса, стар и млад, выбегали на улицу, снимали шапки, платки, бросали их вверх и восторженно и радостно кричали: «Пусть мой старый год меня оставит! Пусть новый год придет ко мне!» Затем все бежали к реке и умывались.

Через несколько дней, пока не распустятся на деревьях листья, народ приходил к священной березе — шачыла. Каждый приносил в туеске приготовленную для этого случая брагу и разноцветные ленты для украшения священной березы. Когда собирався весь улус, один из стариков брал в правую руку поварешку, в левую — туесок с брагой, подходил к березе и, стоя лицом к востоку, окроплял ее брагой, а затем, обращаясь к священной березе от имени всех жителей улуса, начинал моление:

Змеиная голова зашевелилась,
Жизнь вновь к нам вернулась.
Горные двери открылись,
Горы и воды согрелись.

Старик пел, а остальные, затаив дыхание, с благоговением вслушивались в таинственные слова молитвы. Ведь он молил природу даровать людям в новом году счастье и здоровье, мирную и благополучную жизнь, удачную охоту и хороший урожай.

Названия месяцев у шорцев связаны с явлениями природы и хозяйственной деятельностью человека. Так, январь — «кичиг кырлаш» — морозный месяц, февраль — выюжный, март — перевальный (в мартовское новолуние глухари переходят из одной долины речки в другую, переваливая горные хребты или гривы), апрель — месяц бурндука (зверек выходит из нор на поверхность, начиная добывать себе пищу), май — месяц мотыги, июнь — месяц прополки, июль — месяц сенокоса, август — месяц молнии, сентябрь — месяц жатвы, октябрь — месяц молотыбы, ноябрь — месяц охоты и декабрь — старший месяц. Ни о каких числах месяца шорцы не знали. Счет дням велся по фазам луны. Охотники, уходя в тайгу на промысел, говорили что вернуться в таком-то месяце, когда луна будет на ущербе или наоборот, и наказывали домашним к тому времени приготовиться к встрече.

На охоту уходили в новолуние или полнолуние. Считалось, что тогда охота будет удачливее. Даже лес для жилья старались заготавливать в новолуние, полагая, что он будет крепче и долговечнее.

День возвращения промысловиков отмечался особо торжественно. К этому дню варилось пиво, готовились вкусные кушанья. Собирались все родные, приглашались знакомые, охотника поздравляли с возвращением и добычей. Веселье длилось несколько дней. Неплохой этот обычай сохранился и до сих пор.

До столыпинской реформы шорцы платили так называемый государственный албан — налог пушнинной. Каждый мужчина должен был сдать шкурку лучшего колонка либо горноста, от шести охотников в государеву казну шла шкурка соболя либо крупный выдры.

Оплата албана отмечалась на отесанной палочке рубчиком, потому что грамотных людей почти не было. Я помню лишь, что на девять чонов был один грамотный писарь и в каждом улусе его встречали как редкого и почетного гостя.

День сбора албана назначался пашты-

ком и обязательно летом — в июле или августе, когда заканчивался сенокос, а время для уборки урожая еще не подошло. И хотя людям приходилось бесплатно отдавать с таким трудом и риском добытые шкурки, все же этот день отмечался торжественно — расплатились, дескать, с долгом, теперь гуляй на здоровье.

На собранные с каждой семьи деньги покупался жирный бык или корова-перестарка. Быка или корову тут же забивали и варили в казанах. Из тяжелых плах составлялся огромный круг. В первую очередь на самые почетные места усаживали стариков и старух, затем садились охотники и уж после — все остальные. Специально избранные для этого случая юноши и девушки разносили в чашках нарезанное мясо, а мужчинам-охотникам преподносились большие кости с мясом. После «пиршества» старики и пожилые люди пели песни, а молодежь устраивала состязания в борьбе и беге. Девушки плясали в кругу, дети играли в лапту.

На таких вот празднествах холостые мужчины присматривали себе невест. Кстати, жениться шорцу было не просто. Родителям невесты требовалось уплатить калым: одного коня, одного-двух бычков и не менее ста рублей. Недешево обходилась и сама свадьба — «той». Из-за такого обычая немало бедняков и батраков на всю жизнь оставались холостяками или женились на вдовах, за которых калым не полагался.

Выплата калыма была запрещена Советским правительством еще в 1928 году. Однако и по сей день в отдаленных улусах можно встретить случаи выплаты калыма — настолько крепки традиции предков.

В заключение коротких этих заметок мне

хотелось бы остановиться на некоторых географических названиях, связанных с историей нашего народа.

Наиболее интересно в этом отношении происхождение названия речки Кандалеп, в долине которой расположен город Оси́нники. Слово «кандалеп» происходит от шорского «кантогул», что в буквальном переводе означает — кровь проливалась.

Предание говорит, что в этом месте был жесточайший бой с джунгарами и вода речки была густо смешана с человеческой кровью...

Есть еще и речушка Кандалепка, на которой стоит село Кандалеп. В детстве, помнится, старики не разрешали пить из нее воду и даже поить лошадей потому, что вода в ней якобы священна — до сих пор, дескать, здесь течет кровь прадедов, погибших в бою с джунгарскими ханами.

И совершенно не прав исследователь прошлого века миссионер Вербицкий, утверждавший в своей работе «Алтайские инородцы», что бои происходили не с джунгарскими ханами, а с русскими казаками.

Переходящие из поколения в поколение легенды и предания убедительно доказывают это. Шорцы приняли русских казаков, как друзей. Не только боев, но и каких-либо вооруженных стычек между ними не происходило. Русский народ помог нам перейти от полудикого кочевого образа жизни к настоящей оседлой жизни, научил строить избы, хозяйствовать на родной земле, поделился своей мудростью и фольклором. Шорцы очень любят слушать русские сказки и сказания, потому что в них есть немало общего с нашими легендами и преданиями.

Литературная обработка П. ОЛЬГИНА



Д. Хатунцев

ВОСХОЖДЕНИЕ НА БЕЛЫЙ САЛАН

Белый Салан — одна из главных вершин Горной Шории высотой в 1432 метра. Находится в верховьях Томи на границе с Красноярским краем. Наше трехдневное путешествие было предпринято с научной целью. Необходимо было изучить вертикальную зональность древесной растительности на стыке Горной Шории и Кузнецкого Алатау и разыскать столь легендарный маралий корень. В классическом многотомнике «Флора Западной Сибири» профессора П. Н. Крылова только указывается, что маралий корень встречали в верховьях Томи.

18 октября из поселка Борисовка, что в верховьях Томи, мы с лесником Никитой Тимофеевичем Калачиковым отправились в поход. Напутствовали нас опытные таежники Федор Герасимович Мартынов и отец лесника 90-летний Тимофей Иванович Калачиков, всю свою долгую жизнь проведенный охотником и золотоискателем в тайге, знающий каждую тропку, каждый камень Горной Шории. Забегая вперед, скажу, что это он-то и подсказал, где найти маралий корень.

Верным нашим спутником была умная лайка Бой.

Переплыв Томь, мы начали подъем по реке Кончак, берущей начало у подножья Белого Салана. Вокруг мрачная пихтовая тайга. На третьем километре пути мы увидели огромную гарь. Сухие деревья звенели от ветра. Еще выше появились кедры. Сначала одиночные, а потом целые массивы. Здесь мы и обнаружили кедр-великан. Диаметр его у основания превышал 3 метра. Под корнями мы свободно могли бы переночевать, но пока этого не требовалось. Где кедр, там и жизнь. В этом мы убеди-

лись, вспугнув бурундука, которого я успел заснять. Повыше встретили более веское доказательство, от которого стало несколько не по себе, — свеженачатую берлогу медведя. Значит, косяпапы рядом.

Стал появляться снег, прикрывший грибное царство. Лес становился глуше. Пихты сплошь покрыты лишайником-бородачом. Увидели два свежих следа маралов. На зиму они переходят в малоснежный Красноярский край. Нигде раньше мне не приходилось встречать столько муравейников. Буквально муравьиный пояс. Разумеется, в этом поясе не найти ни одного вредителя.

Через непролазные дебри идти очень трудно. Тем более, что идем напрямую, по азимуту. Троп, не считая звериных, здесь нет, туристы еще не добрались. Не часто, но встречались рябчики — наше пропитание. Пройден пояс густых высокоствольных пихтачей. Где-то на высоте 1000—1100 метров лес стал редеть, появились большие луговины. Снегу прибавилось. Крутой подъем сменился отлогой равниной с пихтами не выше 10—12 метров. Здесь-то мы и натолкнулись на еще одно доказательство опасного соседства — свежие когтистые отпечатки лап медведя. Сравнил отпечаток моего сапога 46 размера с медвежьим. Не менее 44 размера, но такой же в ширину. Тут нас застала ночь, и мы вынуждены были заночевать в весьма неприятном соседстве. Бивак разбили на границе леса с субальпийскими лугами. Ночью шел дождь вперемешку с крупой и снегом. Разложили костер. Однако померзнуть пришлось порядочно.

Но утро нас порадовало. Редко бывают такие замечательные солнечные дни в эту

пору в Горной Шории. Не успели мы отойти и километра, как опять увидели медвежий след, а затем еще один, но размером поменьше. Кроме синичек и соек, никаких птиц не видно. Встретили следы косачей, а затем и маленькую стайку этих птиц.

На водоразделе, по которому мы шли, очень часто встречались курумники, обнаженные скалы. Очень много следов соболя. Удивительно любопытные зверьки. Еще издали оповестит он о своем пребывании. Станет у входа в свое жилище, уставится внимательным взглядом на приближающееся существо и посвистывает. Не то сородичей оповещает, не то приветствует. Курумники покрыты баданом, незамерзающие, толстые глянцевые листья которого служили нам отличной заваркой.

И вот долгожданный момент — вдали появился двуглавый Белый Салан, цель нашего путешествия. А пройдя еще километра четыре, мы нашли клад. Даже глазами не верится — на влажной субальпийской луговине целая поляна маральего корня.

Много шорских легенд сложено о чудодейственной силе маральника. Им лечат многие недуги. Когда наступает осень и корень накапливает свои чудесные свойства, а у оленей наступает пора гона, рогаачи-маралы с жадностью поедают корневища растений, набираясь сил для борьбы с соперниками. Много в рассказах шорцев придувано, но не меньше и правды. Это теперь подтверждает наука, считая маралий корень младшим братом женшеня. Медицинская промышленность стала выпускать препарат из маральего корня.

Мы все ближе продвигаемся к заветной цели. Снег слепит глаза. Подниматься становится все тяжелее. То и дело ноги попадали в расщелины между камнями. Ровные сырые луга со светлолугowymi, никогда не замерзающими почвами сменились горной лесотундрой. Ноги утопают в сфагновом мхе. Суровые условия, постоянные вет-

ры, низкая температура, снега придали деревьям и кустарникам причудливые, прямо-таки фантастические формы. Стланиковые пихты и рябины. Заросли такие, что невозможно пройти. Карликовые березы и ивы еле видны из-под снега.

Все ближе Белый Салан, все труднее идти. Снег выше колен. Неожиданно для нас снег стал мелчать. На самой вершине его почти нет. Снесен ветром. Голые камни. Мы стоим на границе с Красноярским краем. Столба пограничного нет, но на вершине есть камень, который и принят за пограничный столб. Исключительно скудная растительность. Накипные лишайники да редкий олений мох. Здесь водятся, кстати, и северные олени, широкие следы которых нам встречались почти у самой вершины.

С вершины Белого Салана открывается изумительный вид. Под нами в облаках Томь. Отлично видны, особенно в наш 8-кратный бинокль, Поднебесные Зубья с самой высокой в области вершиной в 2178 метров. А вот ближайшая к Белому Салану вершина — Черный Салан, 1296 метров. Правее — Церковная, 1093 метра, за ней массив Вершины Тебы — 1319 метров. Здесь берут начало Теба, впадающая в Томь, и Ортон, приток уже другой реки Мрассу. С Белого Салана берут начало многие реки и ключи: Большой и Малый Назасы, Топчул, Калтас, Коксу.

Вторая ночевка, само собой разумеется, была менее комфортабельной, но зато на высоте. Спуск с горы был не легче подъема. Мешал очень скользкий снег. А по бурному Калтасу пробираться было труднее, чем подниматься по гольцу. Спустились мы на маленькую станцию Калтас в Красноярском крае. А оттуда поездом до Междуреченска. Так закончилось наше восхождение на Белый Салан. Но оно было не последним. С тех пор каждый свой отпуск я провожу на Белом Салане. И нет для меня лучшего отдыха, чем в пехотной девственной тайге Горной Шории.



„ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ“

«У человечества есть одно неоспоримо действенное оружие — смех, — говорил Марк Твен, — против смеха ничто не устоит».

К сожалению, наши кузбасские поэты и писатели чрезвычайно редко пользуются этим разящим оружием, и потому появление нового сатирического сборника — событие всегда заметное в литературной жизни.

Отрадно, что такое событие все же состоялось: на прилавках книжных магазинов области появилась новая книжка поэта-сатирика Владимира Матвеева¹.

С Владимиром Матвеевым кузбасский читатель хорошо знаком. Его многочисленные сатирические миниатюры, басни, пародии постоянно появляются на страницах областных газет, альманаха «Огни Кузбасса».

«Житье-бытье» — третья книжка В. Матвеева.

Перед нами автор уже с солидным творческим багажом, богатыми жизненными наблюдениями, и вполне понятно, что оценивать новый сборник читатель вправе по большому счету.

Что можно считать в творчестве поэта как определившееся, вполне сформировавшееся и ставшее присущим только ему?

Автор умеет вскрыть в любых проявлениях ложь, ханжество, лицемерие, точными штрихами выставить их посетителей в неприглядном виде. От пристального взгляда поэта не ускользают ни браконьеры, ни тунеядцы, ни взяточники... Кстати, об этом говорят сами названия сатирических миниатюр: «Браконьер», «Приспособленец», «Недоучка», «Щедрый спекулянт» и др.

¹ В. Матвеев. Житье-бытье, Кемеровское книжное издательство, 1969.

Сборник «Житье-бытье» составлен из восьми циклов, каждый из которых как бы объединен одной сквозной темой или формой, приемом написания. Здесь и непосредственно авторское отношение к вещам в цикле «Урок изящной словесности», и высмеивание героев через диалоги в «Забавных диалогах», и разнообразие аллегорических приемов в циклах «Без моральных довесков», «Голоса вещей», «Кочка зрения», и, наконец, литературные пародии на стихи кузбасских поэтов.

В сборнике много стихов ярких, логически законченных, динамичных и сочных по языку. Но дело в том, что миниатюры Матвеева пока, на мой взгляд, не отвечают требованиям сатирических. Читая их, постоянно ловишь себя на мысли, что поэт смеется над своими героями, но не высмеивает их, осуждает, но не клеймит, бросает им резкий вызов, но в последнюю минуту стреляет в «молоко».

Не отвлекаясь, приведу одно из стихотворений, выдержанное в типичном для Матвеева стиле:

— Вчера
косую «хлопнуть» довелось.
Сегодня
угодил на мушку лось.
И на реке бандит бандитом...

Читатель, естественно, ожидает, что же дальше, каков вывод? Но, едко и зло парировав браконьера, автор отделяется всего лишь скептической улыбкой:

...Ему ли
без ума быть от природы,
когда он
от природы без ума.

Вот те раз! Это, конечно, не тот смех, о котором говорил Марк Твен, это просто улыбка — а «герою-браконьеру» от нее ни жарко, ни холодно.

Подобно этому и стихотворение «Городская идиллия», которым открывается сборник. Здесь целый конгломерат набивших оскомину бытовых мишеней. Словно из мчащегося по городу автобуса стреляет по ним автор, ничуть не заботясь о точности попадания. Зацеплены и детский садик, и столовая, и универмаг, и местный транспорт, и, наконец, домашняя, «культурно» отстроенная квартира. Но, выставленные в безобидно-комическом виде, мишени даже не шелохнулись, потому что от легких царапин не падают замертво.

Думаю, что первый цикл миниатюр «Урок изящной словесности» наименее удачный в сборнике. Как я уже отмечал, Матвеев — поэт с большим литературным стажем, самобытным дарованием, и ему непросто фамиллярное обращение со словом, как, например, в «Случае с дружинником». Даже в юмористическом плане произведение не украшают такие выражения, как «вынырнул (?) верзила», «звонко оплеуху залепил», «испортила (скрывать не стану) мне настроенье пьяная свинья» и т. д.

Ну, а непродуманное, небрежное отношение к слову начисто перечеркивает в целом, может быть, и неплохое стихотворение, говорит о поспешности его написания. Так получилось со стихотворением «Недоучка».

...Не о таких ли молва в народе
(метко подчас выражается он):
на инженера, мол, выучен вроде,
на Человека —
совсем не учен.

Грубо притянутое и втиснутое в скобки замечание автора о «подчас» метких выра-

жениях народа стирает целостность и стройность мысли.

В цикле «Урок изящной словесности» можно встретить миниатюры на темы изношенные и потому не вызывающие интереса («Единая семья»), неоправданно затянутые («Дом телепатов»), логически незавершенные («Приспособленец»).

Но все эти недостатки, конечно, не могут затупить того, в общем, положительно-го впечатления, которое остается при прочтении сборника. Постоянно чувствуешь, что автор обладает большим запасом сатирической энергии, которой, кстати, он не знает, как распорядиться. Трудно, конечно, резко разграничивать, где юмор, где сатира, да и вряд ли стоит это делать, но все же необходимо точно определить конечную цель того или иного произведения и соответственно этому пользоваться жанром.

У Матвеева же пока юмористическое начало довлеет над сатирическими, даже тогда, когда он выбирает мишенью персонажи резко отрицательные, достойные самого беспощадного и едкого высмеивания. Это несоответствие и вызывает порой недоумение.

Но выставить своих героев в смешном, комическом виде автор, безусловно, умеет.

В «Исповеди «нечестивых», «Забавных диалогах», «Голосах вещей» мы встречаемся с характерами реальными, нарисованными ярко и метко.

Очень хорошо удалась В. Матвееву литературные пародии на стихи Евгения Буравлева, Владимира Измайлова, Валентина Махалова, Игоря Киселева.

В заключение необходимо сказать, что новый сборник — значительный шаг вперед в творческом совершенствовании В. Матвеева.

А. СЕМИКОВ



Вот так номер!

Старший мой брат Валерка работает в городе. Дома, в деревне, бывает редко. Он — машинист. Водит поезда и очень этим хвастается. «Не хвастаюсь, а горжусь, понял?» — говорит он.

Иногда, на правах старшего, начинает меня жалеть: «Сережка, ты погибнешь здесь среди этой тишины». А я говорю, что у нас, между прочим, тоже кладбище есть, похоронят. А насчет тишины — так это напрасно. Аксиньин петух на том краю как рявкнет, по всей деревне слышно. Опять же от техники шум. Я свой «Беларусь» заведу, он как рукой снимает.

— Что ваша техника? — возражает Валерка, — веялки-жнеялки, колотилки-молотилки — кровельное железо на ременной передаче! У нас — техника! Электровоз с поездом — это тебе, брат, не «Беларусь» с прицепом. Давай?

Он давно сманивает меня последовать его примеру, а я, честно говоря, и сам бы не против. Всю деревенскую технику от лошадиной подковы до комбайна постиг, хочется чего-то новенького. А боюсь. Чего — и сам не знаю. Вот и сейчас махнул рукой:

— А! Все равно не возьмут.

— То есть как это не возьмут?!

— А так.

— Ну, это ты брось! Десять есть, слесарная практика — дай бог всякому. Я слово замолвлю. Как-никак, братень.

Дальше-больше, и мы разработали план. Я учу Кольку своему делу (иначе не отпустят), сам же буду читать Валеркины книжки, постигать железнодорожную науку. Колька — наш младший брат — пошел нынче в десятый, все равно парня к работе надо привечать.

Сказано-сделано. Как пролетело время, как учился — одному богу известно. Потом

были экзамены. Дрожал. А ведь сдал, честное слово, сдал!

«Ну, Серега, — говорю сам себе, — теперь ты железнодорожный человек». Мне дают номер, как автомобилю. Конечно, ни на шею, ни еще куда вешать его не надо, но забыть ни-ни, зарплату, говорят, не получишь. Деньги считает машина, она в буквах не разбирается и слов человеческих не понимает, только цифры.

Важный номер. И я несколько раз повторил его, поражаясь человеческой гениальности. В самом деле, вдруг однофамильцы. У нас полдеревни Степановы, одних Иванов Степановых человек десять. А тут, поди ж ты, двух одинаковых номеров нет. Ловко!

Дальше. Нужен шкафчик для спецовки. Дали. С номером. Купил тетрадку. Записал на случай, чтоб не забыть. Машинисты и помощники здесь разделены на колонны, вроде как у нас бригады или звенья. Колонна номер один, колонна номер два, меня — в шестую назначили.

— Жить будете в общежитии, у нас их два, ваше место в новом, во втором.

— Как, — спрашиваю, — его найти?

— Очень просто. Выйдешь из конторы и прямо вдоль двадцатого пути до пятой депо-вской секции, а там через калитку — автобусная остановка. Маршрут номер 9, третья остановка, «Пять углов» называется, от нее улица — 2-я Парковая, дом номер 104 по левой стороне третий с края. Там и общежитие.

Ничего себе арифметика! Опять пришлось доставать тетрадку, записывать. А в общежитии на эту страницу дописал: этаж третий, комната — 76, койка № 1. Койку я, конечно, записывать не стал. Одна из четырех, в комнате — не заблудимся. А вах-

терша записала. «А то, — говорит, — как же я искать ночью буду, если в поездку вызывать — только по номеру».

Ну, кажется, все. Оформился. Теперь — на работу, сначала дублиром. Захожу к дежурному, спрашиваю. Он посмотрел на мое новенькое удостоверение, потом на меня, потом на большую бумагу на столе и сказал:

— Четный парк знаешь?

— Найду, — обнадежил я.

— Вот. Там на 14 пути поезд номер 2566, электровоз 1276. Записал? Машинист Моргунов. Скажешь, я послал. Понял? Отправление 16-20, так что поспешай, парень.

Парк был рядом.

— Новый кадр, — улыбнулся машинист, — ну-ну, вовремя, — вон зеленый горит. Будут стоянки, будем знакомиться. А сейчас смотри, слушай, на ус мотай. Поехали.

Машинист поколдовал ручками-кнопками, и поезд пошел.

— Васи-и-лий! — громко, вразяжку, как в лесу, крикнул машинист своему помощнику, до которого было не больше двух метров, и выразительно погрозил пальцем.

— Вижу зеленый на выходном! — мгновенно отреагировал тот.

— То-то, вижу, — передразнил его механик. — Смотри у меня. Человек учиться пришел, с тебя пример брать, так что все у меня по параграфам! Понял — нет?

— Пойду — гляну, — объявил помощник и нырнул в рокошущее нутро электровоза. Через несколько минут вернулся, докладывает: — На скоростемере — 65, время — 16-35, масло — 2,5 и 3,5, зарядка — 50 на 10, не горит, не дымит. Порядок!

Машинист кивнул. Я все — в тетрадку. Целые, десятые, сотые, двузначные, трехзначные, через дробь и через черточку...

Поездка закончилась ночью. Автобусы не ходили, и на свою 2-ю Парковую во второе общежитие пришлось топтать пешим. Уже около своего дома с номером 104 я пожалел, что упустил такую возможность, не посчитал, сколько шагов от депо до общежития. Утешился тем, что при новой моей должности такая возможность представится еще не раз. А вот от двери до комнаты с номером 76 было ровно 93 шага. Наскоро умывшись, «упал» на койку номер один.

Несмотря на усталость, сон не приходил. Лезла в голову всякая ерунда. Вспоминались номера. Пытаясь их как-то систематизировать, приспособлявал к знаменательным датам, номерам элементов из химической таблицы Менделеева, к дням рождения.

Вспомнилась деревня. Большая она у нас. Дворов, наверное... не знаю. Надо будет посчитать, как приеду. Дадут выходной день. На чем ехать? Поездом — быстрее, но там еще три километра своим ходом, автобусом — подольше, зато к самому дому.

Гляжу — перед общежитием, на дороге, пенисто освещенной редкими фонарями, стоит странное сооружение. Гнездо — не гнездо, корзина — не корзина, все сплетено из цифр. В беспорядке торчат семерки, восьмерки, тройки. На передке нахохлился Аксиньин петух. Сзади — несколько вагонов, тоже сплетенных из всякой цифири. И какой-то белый старичок рядом. Видно, из пенсионеров.

— Садись, — говорит, — и езжай. Начиная считать с единицы — скорость расти будет. Тормозить — считай в обратном порядке. Только по порядку счет. Пропустишь — дернет.

— А петух зачем? — спрашиваю.

— Как зачем? Сигнализировать. Сам говорил, — орет громко, слышно далеко.

Послушал старика, сел, сказал «раз»... Рывком на всю улицу петух, закричало на своих нолях чудо техники.

— Два, три, четыре, пять... Тридцать два, тридцать три, тридцать четыре.

Широкая улица понеслась навстречу, мелькая «гастрономами», аптеками, химчистками. Выезжаем на площадь, а там дорога в большой дом упирается. А свернуть как?.. Это ведь не на железной дороге, где рельсы сами поворачивают. А я уже до семидесяти четырех досчитал, пока снова до единицы доберешься... Дом растет, приближая страшную развязку. Решаю пропустить числа, иначе не успеть, пусть дергает.

— Пятьдесят восемь, пятьдесят четыре, сорок девять... Меня кидает от стенки к стенке, от рывков хлопает крыльями петух и орет, как ошалелый.

— Двадцать три, восемнадцать, четырнадцать... Девять, пять... Три!.. Один.

Последний раз хватануло так, что потемнело в глазах...

— Да встанешь ты или нет?.. Ну и мастак спать, прямо пожарник, — пропела стоящая надо мной вахтерша. — Я и трясусь его, и дергаю, радио во всю играет, а он знай дрыхнет да цифры какие-то бормочет. — Брат тебе звонил. Я ему: спит, говорю. Он номер телефона дал, чтобы позвонил ему. — И вахтерша подала мне кусочек газеты с шестизначным номером.

Я достал с тумбочки свою тетрадку, перевернул исписанные страницы. На чистом месте в самом верху записал номер.

День начинался.

Афанасий Иванович

Мастер срочного ремонта обуви Пришибкин был загружен работой до предела. Полки крохотной его мастерской, устроенной в подъезде жилого дома, аж гнулись под тяжестью туфель, тапочек и ботинок всех мастей и размеров. И сегодня Пришибкин решил твердо ни от кого больше обуви не принимать. Всяк входящему, не поднимая головы, отвечал:

— Зайдите через недельку... Мало ли что срочный... Что я — разорвусь?

Его упрасивали, умоляли, предлагали заплатить наличными, без квитанции, намекали насчет чаевых, но Пришибкин был непреклонен.

— Через недельку, — выцеживал он одним уголком рта, потому что в другом были зажаты губами полдесятка сапожных гвоздиков.

Точно так же сказал он и даме, которая зашла, чтобы прибить набойки на каблучках лакированных туфелек. Но дама лишь

мило улыбнулась и негромко, таким интимным шепотком произнесла:

— А я от Афанасия Ивановича...

— Да? — поднял на нее покрасневшие от усталости глаза Пришибкин.

— Да, — сказала дама, и туфелька из ее ухоженных рук тут же переключивалась в заскорузлые руки Пришибкина.

— Сколько с меня? — спросила дама, когда туфельки со сверкающими новенькими набойками возвратились к ней.

— Ерунда! — пробурчал Пришибкин. — Плевое дело. Ничего не стоит... Афанасию Ивановичу от меня поклон...

Дама поблагодарила и, кокетливо поведя плечиками, вышла. А мастер Пришибкин, подперев кулаком подбородок, долго перебирал в уме имена всех своих многочисленных начальников, пытаясь вспомнить, кто же это такой — Афанасий Иванович! Но, так и не вспомнив, тяжело вздохнул и с остервенением стал прибивать резиновую подметку к тяжелому рабочему ботинку.



Загадка века

Гр-н Адмиралов на станции Киселепьевск положил в 10-й отсек автокамеры хранения свою авоську и закрыл его, набрав шифр М-2-87. По открытии отсек оказался пуст. Тогда гр-н Адмиралов стал набирать свой шифр во всех отсеках по очереди. Открылось четыре отсека, но авоська была обнаружена лишь в пятом, под № 13.

Гр-н Адмиралов взял из авоськи нужный ему сосуд и вновь закрыл камеру, изменив шифр на Р-3-12. Перед отходом поезда камера оказалась пуста. Авоську обнаружили в отсеке № 10, открывшемся на шифр С-3-07.

Поезд ушел. Гр-н Адмиралов записал. Киселепьевский горпищеторг открыл на станции новую торговую точку.





Цена 30 коп.

